



ГАЛ И Н А
ЕРЕБРЯКОВА

**СТРАНСТВИЯ
ПО
МИНУВШИМ
ГОДАМ**
Н · О · В · Е · Л · Л · Ы

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва 1965

В книге Галины Серебряковой читатель встретит много дорогих имен. Она рассказывает о встречах с В.И. Лениным, Н.К. Крупской, М.И. Ульяновой, Ф.Э. Дзержинским и многими другими партийными и государственными деятелями, представителями зарубежной и советской литературы. Автор зорко отмечает живые черты современников, интересные детали в их общественной и личной жизни. Закрывают книгу новеллы — воспоминания о разных событиях жизни, о матери, вошедшей в революцию из буржуазной среды, пронесшей через всю жизнь преданность делу партии. Она стала для дочери примером и верным ее спутником в трудные годы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие. Л. Никулин

СВЕТ НЕУГАСИМЫЙ

В. И. Ленин
Н. К. Крупская и М. И. Ульянова
Ф. Э. Дзержинский
М. В. Фрунзе
С. М. Киров
Г. М. Димитров
М. Н. Покровский
А. М. Коллонтай
Е. Д. Стасова
А. В. Галкин

ТРИ СОВРЕМЕННОКА

Максим Горький
Бернард Шоу
Ромен Роллан

ТОВАРИЩИ ПО ЦЕХУ

Дмитрий Фурманов
Борис Горбатов
Сакен Сейфуллин
Павел Васильев
Сергей Есенин

ИЗ РАЗНЫХ ЛЕТ

Сокровищница
Мать

Веб-публикация: Vive Liberta, 2012

Материалы о Галине Иосифовне Серебряковой, ее книга «Женщины Французской революции» биография К. Маркса <http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#gsrb>

Воспоминания Галины Серебряковой охватывают десятилетия, которые на вечные времена останутся в памяти поколений.

Современники автора «Странствий по минувшим годам» прочтут их с особенным волнением, перед их мысленным взором возникнут образы героев победоносной социалистической революции, революционеров, испытанных в классовых боях, в подполье, в тюрьмах и ссылке.

Галина Серебрякова выросла в семье, где отец и мать были профессиональные революционеры, соратники рыцаря социалистической революции Феликса Эдмундовича Дзержинского. С юных лет автор воспоминаний *сжилась с этой средой, и потому* неудивительно, что уже в четырнадцатилетнем возрасте Галина Серебрякова в рядах Красной Армии.

Новелла «Мать», написанная тепло, сердечно, как и вся книга, поясняет нам, каких удивительных людей встречала на протяжении своей жизни Серебрякова.

«Светом неугасимым» сияет в ее памяти образ Владимира Ильича Ленина. Он возникает перед читателем в минуты, когда в ложе Большого театра слушает Девятую симфонию Бетховена.

Видела и слышала Ленина писательница на трибуне IV конгресса Коминтерна. О том, каким психо-

ряющим слушателей оратором был Ленин, мы знаем и по другим воспоминаниям. В день, когда его слушала Галина Серебрякова, Ленин выступал уже после зловещих признаков болезни, которая свела его в могилу. И хотя Ленин говорил по-немецки, он не сделал ни малейшей ошибки в своей речи на чужом языке, и Надежде Константиновне не пришлось прийти ему на помощь, как он ее об этом просил в случае необходимости.

Такие ценные подробности мы часто встретим в книге Галины Серебряковой. С острой наблюдательностью и сердечной теплотой рассказывает она о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, рисует его внешность, рассказывает, с каким вниманием, душевным волнением он слушал стихи Словацкого, музыку, баллады Шопена. Замечательны слова Дзержинского о том, что чекиста должны характеризовать три слова, начинающиеся на букву «ч», — честность, чуткость, чистоплотность духовная.

Читая «Странствия по минувшим годам», сверстники писательницы, те, кому довелось знать, встречать выдающихся деятелей социалистической революции, могут засвидетельствовать, как верен и точен обаятельный образ героя гражданской войны, полководца-ленинца Михаила Васильевича Фрунзе.

Сквозь завесу десятилетий возникает перед нами вечер в гостинице «Националь», в комнате, которую занимал Фрунзе; группа литераторов во главе с Александром Константиновичем Воронским — гости Фрунзе. Некоторые из нас впервые видели Фрунзе и были радостно поражены, как тепло, товарищески ласково встретил их герой Перекопа, человек, чье имя навсегда вписано в историю гражданской войны. Как глубоко и вдумчиво он воспринимал беседы о будущем советской литературы. И Фрунзе в воспоминаниях Серебряковой именно такой, отзывчивый, внимательный, скромный, каким мы видели в тот незабываемый вечер более сорока лет назад...

А Киров! Кажется, ничего нового не рассказал о нем автор воспоминаний, и все же перед нами —

Киров, трибун революции, сочетавший в себе пламя, темперамент революционного вождя и сердечность и теплое участие к людям, к народу, из глубин которого он вышел.

Замечательных людей встречала на своем жизненном пути Галина Серебрякова, вспоминает она и Георгия Димитрова. По воле случая я летом 1935 года находился в подмосковном санатории, том самом, где отдыхал и лечился Димитров после освобождения из нацистской тюрьмы, после «суда», где из обвиняемого он превратился в беспощадного обвинителя. Помню, с каким волнением и радостью мы встречали Димитрова на прогулке, как радовало нас, что на наших глазах быстро восстанавливались его силы.

Галина Серебрякова знала лично таких женщин, навсегда запечатлевших свои имена в истории социалистической революции, как Надежда Константиновна Крупская, Мария Ильинична Ульянова, Александра Коллонтай, Елена Стасова. Записи эти кажутся нам этюдами к литературным портретам. Точным литературным портретом являются страницы, посвященные Михаилу Николаевичу Покровскому, ученому, историку-марксисту, творческой помощи которого многим обязана Галина Серебрякова, когда работала над книгой о женщинах французской буржуазной революции.

Горький открывает галерею писателей в книге. Известно, что Алексей Максимович проявил глубокий интерес к литературным трудам писательницы. Она рассказывает искренне, взволнованно о встречах с Горьким, не забывая подчеркнуть его строгость и взыскательность — слабое произведение вызывало в нем утрату интереса к писателю. Вернуть доброе отношение Горького можно было только хорошей работой, это многие испытали на себе, в том числе и писательница.

Убежден, что читателей заинтересует и очерк о Бернарде Шоу, которого Серебрякова встречала не только на приемах в посольстве, но и провела несколько дней у него как гостя. Рядом с остроумнейшим

и блистательным Шоу не меркнут образы соотечественников — сверстников мемуаристки: Дмитрия Фурманова, поэта Павла Васильева, Сергея Есенина...

Вот вечер у редактора «Известий» Гронского, где присутствовал Валериан Владимирович Куйбышев и впервые слушал стихи Павла Васильева: сохранилось в моей памяти выражение лица Куйбышева, слушавшего стихи, как слушают песню. В самом деле, из многих даровитых поэтов, чтение которых мне довелось слушать, Павел Васильев обладал каким-то особым, я бы сказал — трагическим звучанием несколько глуховатого голоса.

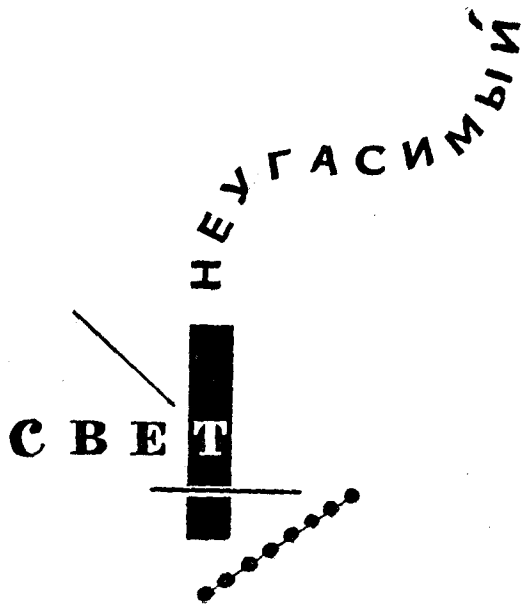
Есенин запомнился в последние годы его жизни. Автор воспоминаний верно передает то горестное чувство, которое возникало у всех видевших его незадолго до кончины...

Галина Серебрякова в 1927 году была за границей, где в Париже мы, помню, навещали ее. Мы — это Всеволод Иванов, Бабель и автор этих строк. В дружеских беседах мы чувствовали себя снова как бы дома, в Москве, а не на чужбине.

Два очерка в книге Серебряковой напоминают нам о том, что ей пришлось пережить в годы культа личности, пережить без всякой вины, не годы, а десятилетия заключения, и потому она с таким сочувствием пишет о Саkene Сейфуллине — редакторе перевода ее книги «Юность Маркса», погибшем в годы культа. Я уверен, что никто не останется равнодушным к тем страницам, которые она посвящает Борису Горбатову, единственному, кроме ее матери, человеку, который не побоялся послать привет в стены тюрьмы так называемому «врагу народа» Галине Серебряковой.

Этим я считаю нужным заключить вступительные строки к поучительной, темпераментно написанной и потому особенно ценной для молодого поколения читателей книге Галины Серебряковой.

Л. НИКУЛИН



Есть немеркнущие воспоминания в жизни каждого человека. Они, как звезды, освещают темнеющее небо ушедшего времени.

Два раза видела я Владимира Ильича Ленина: в Большом театре, в феврале 1921 года, во время исполнения Девятой симфонии и позднее, на конгрессе Коминтерна в зале Кремлевского дворца.

Прошло несколько десятилетий, но в памяти звучат бессмертные звуки Бетховена и подле поблекшей пунцовой портьеры, прислонясь к стене, в темном пиджаке стоит передо мной живой Ленин.

Все мы, находившиеся на утреннем симфоническом концерте, были несказанно поражены и обрадованы тем, что рядом с нами Ильич. Он вошел с Крупской неожиданно, неслышно и

долго стоял в глубине ложи, не желая кого-либо побеспокоить. Помню широкий, решительно протестующий жест выброшенной вперед руки, когда мы все поднялись, чтобы уступить свои места. Так и не сели Ленин и Надежда Константиновна, покуда не были внесены в ложу кресла.

С той минуты, как Владимир Ильич появился, я не могла более оставаться спокойной. Хотелось смотреть и смотреть на него, но это было неловко. Когда хор и солисты запели «От страдания к радости», Ильич облокотился на барьер ложи, и я увидела его бледное, вдохновенное, сосредоточенное лицо. Он был весь во власти торжествующей, победной симфонии, заполнившей огромный театр, рвущейся прочь, сквозь камни, к небу. Ликующие, жизнеутверждающие аккорды завершили финал, и музыка оборвалась. Не сразу, однако, рассеялось могучее очарование гениального творения Бетховена. Ленин как бы очнулся, встал, приветливо поклонился всем и, пропустив вперед Надежду Константиновну, вышел.

Это был счастливый день. Навсегда отныне Девятая симфония стала для меня музыкальным выражением не только одного, а двух гениев.

Тринадцатого ноября 1922 года я снова не только увидела, но и услышала Владимира Ильича. Это было на одном из заседаний IV конгресса Коммунистического Интернационала в Кремле. Переполненный Андреевский

зал был охвачен нетерпеливым ожиданием. Представители пятидесяти восьми коммунистических организаций мира ждали Ленина. Всюду слышалась чужеземная возбужденная речь. Владимир Ильич совсем недавно оправился после первого грозного проявления той болезни, которая вскоре свела его в могилу. Это волновало делегатов и гостей.

Я не отрывала жадных глаз от трибуны. Там, среди многих других, особенно выделялась прекрасная в рамке голубовато-серебряных пышных волос голова Клары Цеткин. Внезапно я услышала аплодисменты и пылкие приветствия, раздавшиеся где-то в конце длинного светлого зала. Ленин с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной появились не со стороны президиума, а из двери для публики. Меня поразила стремительность и легкость походки Владимира Ильича, живость его жестикulatory и мимики. Прекрасна была его улыбка в ответ на радостный гул, поднявшийся вокруг. Никто не дал бы Ленину, несмотря на недавнюю перенесенную болезнь, пятидесяти двух лет. Он выглядел значительно моложе и благодаря ширине плеч и пропорциональности сложения казался выше ростом, нежели был на самом деле. Пройдя вдоль стены через весь зал, Ленин поднялся на трибуну. Надежда Константиновна примостилась у подножия деревянной кафедры, за которой он встал. Я не сразу поняла, зачем она это сделала. Владимир Ильич выступал с речью на немецком языке. Его переутомленному мозгу нельзя было

чрезмерно напрягаться, и на случай, если память в какой-то миг не подскажет ему нужное немецкое слово, Крупская должна была стать переводчицей. Этого, однако, не понадобилось.

Едва Ленин заговорил, воцарилась глубокая тишина. Все замерли. Несмотря на плохое знание немецкого языка, мне казалось, что я понимаю каждую фразу.

Поразительны были не только экспрессия, четкая дикция, но и обаяние голоса и жеста этого бессмертного оратора. Безошибочно и сразу нашел он, как всегда, ту волну, которая лучше всего могла донести до аудитории его мысли и чувства. Факты, думы, провидение покорили слушателей. Лица их просветлели. Это было поистине интеллектуальное пиршество. Владимир Ильич говорил о пяти истекших годах Октябрьской революции. Речь его по времени почти совпадала с великой годовщиной победы. Он коснулся и будущего, которое принесет всем странам коммунистическое мировоззрение.

Лишь когда под ураган аплодисментов Ленин уходил с трибуны, я заметила, как посерело его лицо и как трудно он дышит. Видимо, он очень устал после своего выступления и тотчас же вынужден был покинуть заседание.

Прошло немногим более года. Весть о смерти Ленина зимним вечером облетела землю.

Есть черные даты в жизни людей. Они как затмение солнца. Снова увидела я Ленина, и

снова оркестр играл Бетховена, но то были звуки трагического похоронного марша. Свет люстр, окутанных крепом, как сквозь темную дымку тумана, освещал гроб, усыпанный кроваво-красными тюльпанами.

Уходя из Колонного зала Дома союзов, как и часто потом, я тщетно старалась вспомнить тот час, когда услышала впервые об этом вечно живом человеке. Революция застала меня маленькой девочкой. Может быть, отец и мать, оба большевики-подпольщики, или уличный митинг, газета, плакат первые сказали мне о Ленине. Напрасные поиски. В моем сознании он жил всегда и стал частью самой жизни. Всем нам хотелось хоть чем-нибудь походить на Владимира Ильича, которого мы воспринимаем как воплощение человеческих идеалов. Обычные мерилы ему не под стать. Он, так же как Маркс и Энгельс, доподлинно человек революции, гениально выразивший требования своей эпохи, и вместе с тем человек будущего.

Ленин показал непревзойденные образцы смелой революционной борьбы, поведения в повседневной жизни, отношения к труду, мышления и неизменного единства цели. Это величайший гуманист, отдавший всего себя борьбе за счастье трудового народа.

Каждая, даже самая незначительная бытовая деталь его биографии отражает высокую простоту, большое сердце. Владимир Ильич всегда думал только о других и ничего лишне-

го, особенного не хотел для себя. . . Вспоминаю, как Валериан Владимирович Куйбышев рассказывал о «головомойке», которую он получил в самом начале двадцатых годов от Ильича. Когда до Ташкента дошла весть о тяжелой болезни Ленина, члены Среднеазиатского бюро ЦК и Реввоенсовета фронта решили отправить ему свои охотничьи трофеи — тушки фазанов. Ильич, узнав о посылке, крайне осерчал, объявил, что считает это проявлением подхалимства, и приказал немедленно передать дичь Московскому военному госпиталю в Лефортове. Надежда Константиновна тайком решила оставить только одну птицу и сварила ее. Заметив грозный вопросительный взгляд больного Ильича, она, с трудом решившись на ложь, сказала, что бульон сварен из курицы.

Нельзя без душевного трепета и восхищения думать о той большой любви, которая связывала много лет Владимира Ильича с его женой.

Глубоко запал мне в душу рассказ старого большевика, сопровождавшего Ленина в одной из его поездок в Петроград. Прежде чем направиться в Смольный, Ильич поехал к дому, в котором познакомился с Крупской. Там он вышел из автомобиля и некоторое время прохаживался по тротуару, поглощенный дорогами ему воспоминаниями.

Недавно одна из старейших коммунисток — Серафима Ильинична Гопнер — рассказала мне

эпизод, который еще раз показывает, как дорога и нужна всегда была Надежда Константиновна Владимиру Ильичу.

Это было грозной, тяжелой и голодной весной 1919 года. В Москве собрался I конгресс Коммунистического Интернационала. Гопнер приехала с Украины, где в хлебе не ощущалось большого недостатка.

На заседании конгресса была и Надежда Константиновна. Она очень исхудала и выглядела больной. Гопнер решила уговорить Крупскую поехать отдохнуть на Украину и в перерыве между заседаниями сказала об этом Владимиру Ильичу. Ленин категорически сопротивился.

— Нет, нет, невозможно, — не задумываясь горячо возразил Ильич. — На Украине хоть и сытно, но беспокойно. Да и мне без Надежды будет трудновато. — И опять повторил: — Нет, нет, уж лучше не надо. . .

— Было ясно, — добавила Серафима Ильинична, — что Владимир Ильич огорчился даже мыслью о разлуке с женой. Она была самым близким его другом.

В начале тридцатых годов в Лондоне я была в церкви Братства, где среди серых стен под замшелой крышей в 1907 году работал V съезд Российской социал-демократической рабочей партии. На шатком стуле возле деревянного амвона сидел в дни работы съезда В. И. Ленин.

Гений обладает чудесным даром придавать окружающим предметам бессмертие. Ленин превратил в место паломничества ничем не примечательную молельню на окраине Лондона.

Основателем церкви Братства на Саусгейт-Род был мистер Фелс — человек предприимчивый и своеобразный. Он владел небольшим мыловаренным заводом и попытался создать секту, которую назвал христианско-социалистической.

Случилось так, что в поисках помещения для заседаний организаторы съезда очутились на Саусгейт-Род. Они обратились к главе секты с просьбой сдать им на несколько дней помещение. Фелс согласился. В качестве векселя он попросил подписать документ, в котором значилось, что социал-демократы уплатят ему за аренду, как только они придут к власти в России.

Ленин и все члены съезда подписали такое обязательство, и впоследствии Ленин выполнил его.

Мыловара уже не было, когда в двадцатых годах в Лондон приехала первая советская делегация. Она тотчас же принялась отыскивать его наследников. В живых оказалась жена. Ей полностью выплатили следуемые деньги. Миссис Фелс в свою очередь вернула расписку Ленина и других участников съезда.

К голубой стене старой церкви была прикреплена нашими делегатами белая мрамор-

ная доска. «В этом здании в мае — июне 1907 года под руководством Ленина заседал V съезд Российской социал-демократической рабочей партии большевиков».

В Лондоне я побывала и в другом историческом помещении, где часто работал Владимир Ильич, — в читальне Британского музея. За четырьмя миллионами книжных переплетов здесь собраны мысли, научные догадки, гениальные технические открытия, поэзия и проза многих столетий.

Читальный зал на протяжении более чем ста лет своего существования был любимым местом труда и отдыха политических эмигрантов. Его постоянно посещали Герцен и Огарев, изгнанники царской России; немало времени провел там за узким столом Золя, покинувший Францию после настойчивой, но неудачной вначале попытки спасти Дрейфуса, и многие другие, чьи имена не забываются.

В библиотеке Британского музея создавал свое гениальное произведение «Капитал» Карл Маркс. Многие часы проводил перед книжным пюпитром и Ленин.

Один из библиотекарей читальни, пораженный необычайной работоспособностью, скромностью и разнообразием интересов Владимира Ильича, навсегда запомнил его. Этот седовласый, благообразного вида высокий старик рассказал мне, что Ленин с первой встречи чем-то неуловимым так поразил его, что спустя почти двадцать лет он все еще не перестает вспоминать о том, как выдавал ему некогда книги.

— Мистер Ульянов быстро отыскивал в каталогах нужные ему книги, читал их очень внимательно, делая иногда выписки, — вспоминал библиотекарь. — Я всегда был уверен, что это большой русский ученый. Впоследствии я сразу узнал его по фотографии в газете и был очень рад тому, что он стал весьма знаменитым человеком.

И хотя «мистер Ульянов» остался для него таким же загадочным, как некоторые гениальные книги, к которым он прикасался, но не читал их, лицо библиотекаря освещалось счастливой улыбкой, когда он рассказывал о своем знакомстве с великим русским.

В тридцатых годах, когда я дерзнула начать работу над романом «Юность Маркса» и пошла к А. М. Горькому за советом, он долго говорил со мной не только о Марксе, но и о Ленине. В характерах обоих творцов научного коммунизма Горький находил сходные черты, в том числе оптимизм, бодрость, смелость, неизменную веру в конечную победу.

Мне посчастливилось в молодости познакомиться с еще одним большим человеком, с Ролланом, когда он гостил в Советском Союзе в 1935 году.

Среди величайших гениев Роллан особо выделял Ленина. Мысль Ленина, чистая и острая как меч, рассекала сомнения знаменитого французского писателя. После долгих лет исканий и мук нашел он для себя новый путь, по которому шел до конца жизни.

Нет нужды мне пытаться пересказать то, что говорил в личной беседе Роллан. Невозможно передать это лучше, нежели сделал он сам, когда написал:

«Ленин во все мгновения жизни в бою... Все его мысли предварительно рассмотрены им с наблюдательного пункта командующего армией — в бою и для боя. Он, как никто другой, воплощает в себе тот исторический час человеческой деятельности, каким является пролетарская революция... Ему не свойственны ни колебания, ни сомнения. Отсюда его сила и торжество дела, которое он воплощал.

Он мобилизует для действия все силы ума: искусство, литературу, науку — все, вплоть до стихийности течений, до подсознательных глубин бытия, вплоть до мечтания».

Материалы о В. И. Ленине:
<http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#lenin>

Как и Ленин, Надежда Константиновна Крупская поражала своей удивительной скромностью. Она, казалось, стремилась не только ничем не выделяться, но и оставаться незамеченной. Когда бы я ни встречалась с ней, никогда не видела я ее одетой иначе, чем в утро незабываемого бетховенского концерта. Белая просторная кофточка, темный сарафан, непослушная прядка прямых волос, падающая на выпуклый лоб, внимательный взгляд и мелодичный тихий голос — такой запомнилась она мне навсегда. Только ее волосы после смерти Ленина стали седыми.

Я была среди гостей в том же Большом театре 21 января 1924 года, когда там заседал XI Всероссийский съезд Советов. Внезапно страшная весть облетела зал: «Умер Ленин».

Удар был ошеломляющим. Все с нарастающим отчаянием смотрели друг на друга. Заседание съезда было прервано. Делегаты поспешили из здания театра в Горки. Я увидела траурный флаг, взвившийся подле красных, которыми была украшена площадь, и поверила в страшное несчастье, обрушившееся на весь мир.

Есть потери, необъятность и горечь которых непрерывно постигается, углубляется временем.

...В Доме союзов сквозь слезы смотрела я на траурный зал. Покорно увядали алые тюльпаны, обрамленные черными лентами. У гроба Ленина неотступно стояла Надежда Константиновна и ее самый близкий после Ленина друг — Мария Ильинична Ульянова. Надежда Константиновна всем своим видом олицетворяла безграничную скорбь, но отнюдь не отчаяние. На ее бледном лице не было слез. В эти часы страдания она оставалась мужественной и еще более твердой. Надо было не только в себе, но в ленинской партии, среди пролетариата всего мира не допустить растерянности и уныния. Уже через несколько дней я увидела Надежду Константиновну выступающей с трибуны съезда. Она была отличным оратором. Четко, просто излагала она свои мысли, избегая вычурных фраз и какой бы то ни было искусственности. Призывая сомкнуть ряды и твердо нести вперед коммунистические знамена, она олицетворяла, как всегда, героический образ борца-коммуниста.

Кого из нас не пленяет предельное челове-

ческое совершенство, гармоническая личность, полная ума, силы и благородства. Такими были Ленин и его жена. Мир хорош оттого, что дает нам таких людей, какими хотели бы быть мы, какими должны быть и будут люди будущего.

С Надеждой Константиновной Крупской я познакомилась в 1925 году, ранней весной, на южном берегу Крыма, в Мухалатке. С нею была и Мария Ильинична Ульянова, которая, увидев меня, тотчас же принялась рассказывать Надежде Константиновне, при каких необычных обстоятельствах произошло наше с ней знакомство.

...В мае 1921 года в один из санаториев Мисхора прибыла ненадолго Мария Ильинична. Вскоре, прогуливаясь по гористому склону, она подвернула ногу и растянула сухожилие. Врач сказал, что неплохо достать ей временно костыли, но их не было. Узнав об этом, мы, комсомольцы и юные коммунисты, работавшие тогда в Алушке, решили, что Марии Ильиничне необходима трость. Во дворце Юсупова находилась коллекция чудесных тростей.

Я отправилась туда, выдала сторожу расписку на великолепную палку с набалдашником из слоновой кости, казавшуюся мне самой подходящей для больной, и торжественно понесла ее в санаторий.

Пока мои товарищи ждали в саду, я вошла в комнату Марии Ильиничны. Она лежала в шезлонге и читала.

Оробев, я пролепетала что-то бессвязное и

протянула трость, объяснив, где мы ее взяли. Вдруг гневно насупились брови Марии Ильиничны, и она обрушилась на меня с упреками:

— Как могли вы совершить этот недостойный поступок? Немедленно верните палку во дворец Юсупова. Это народное достояние, так можно скатиться до очень скверных дел. Это недостойно большевиков.

Много еще сказала мне Мария Ильинична недобрых, но справедливых слов. Совершенно растерявшаяся и опозоренная в своих собственных глазах, я направилась к двери. Когда я была на пороге комнаты, Мария Ильинична уже ласковее сказала:

— Когда сдадите палку, вернитесь, мы поговорим. — И, улыбнувшись, от чего стала еще милевиднее, добавила ободряюще: — Поговорим о другом.

В тот же день к Марии Ильиничне приехал ее брат — Дмитрий Ильич, срубил в буковом лесу толстую ветвь и перочинным ножом счистил кору. С этой большой и прочной палкой часто гуляла Мария Ильинична, покауда не прошла боль в ноге.

...Надежда Константиновна добродушно посмеялась над этим случаем и сказала:

— А ведь Мария Ильинична была вполне права. Да и куда надежнее опираться на прочную палку, чем на княжескую трость.

Как-то в ту же пору в одну из прогулок по понравившейся Надежде Константиновне кипарисовой аллее, ведущей от дома к морю, я

спросила ее, отчего в истории человечества нет женщин-гениев, равных мужчинам. Этот вопрос живо интересовал меня. Я приводила пример за примером. В живописи, музыке, литературе не было женских имен, равных Бетховену и Чайковскому, Леонардо да Винчи и Репину, Шекспиру и Толстому. Мы перечислили имена известных художниц — Виже Лебрен, Кауфман, Башкирцевой, писательниц — Жорж Санд, Войнич и других, но все это были таланты, а не гении. Даже в кулинарии законодателями были мужчины.

— Это верно, — подумав, ответила мне Надежда Константиновна. — Вспоминаю, что в Лувре мы с Владимиром Ильичем обратили внимание на гобелены. Самые прославленные образцы их сотканы именно мужчинами, хотя исстари их ткали главным образом женщины. Но в этом нет ничего удивительного. Женщина после матриархата не знала подлинной свободы, к какому бы классу она ни принадлежала. Отпечаток рабства был на всем, что бы она ни делала. Все будет по-иному при коммунизме, и уже сейчас не узнать наших женщин. Они, несомненно, постигнут все области знания и искусства, и среди них будет немало гениев.

Мне захотелось узнать, что думает Надежда Константиновна, которая сама так мало обращала внимания на свою внешность, о желаниии женщины красиво одеваться. Я призналась ей, что на недавней партийной чистке мне по-

ставили на вид то, что я покрывала ногти лаком. Председатель комиссии сказал сурово: «Я вынужден поднять этот вопрос, так как вы можете скатиться до мелкобуржуазного разложения».

Надежда Константиновна весело улыбнулась. Ей не казалось, что уход за своей внешностью несовместим с глубокой коммунистической принципиальностью. Она напомнила мне, как хороши и нарядны были Инесса Арманд и А. Коллонтай, но добавила, что сейчас, в пору нэпа, понятно замечание, высказанное на чистке.

Очень несловоохотливая, едва речь заходила о ней самой, Надежда Константиновна умела, как никто, слушать и интересоваться мыслями и судьбой других. У меня родилась дочь, и Надежда Константиновна много расспрашивала меня о ребенке, удивляя поразительным знанием детской психологии. Как-то, говоря о чертах, передающихся по наследству, она рассказала мне о маленькой племяннице Ленина Олечке, которая ходит точь-в-точь, как он, заложив руки назад, и во многом напоминает его.

— А она никогда не видала Владимира Ильича, — закончила задумчиво Надежда Константиновна.

Трудно представить себе более сдержанного, более доброжелательного человека, чем Мария Ильинична. Она всегда строго спрашивала меня, что я читаю и чему учусь.

В маленькой гостиной крымского санатория стоял сильно расстроенный рояль красного дерева. Мария Ильинична очень любила музыку. Я играла плохо и перезабыла все, чему учили меня в детстве. Но трем пьесам мать все-таки выучила меня навсегда. Это был «Музыкальный момент» Шуберта, «Турецкий марш» Моцарта и «Ноябрь» Чайковского. И эти пьесы всегда, когда бы я ни приходила к Марии Ильиничне, она заставляла меня играть ей на разбитом рояле. При этом она часто рассказывала мне о своей сестре Ольге, чудесной во всех отношениях девушке, отлично, как и их мать Мария Александровна, игравшей на рояле.

Она вспомнила, что Ольга играла прелюды Шопена и, чем бы ни были заняты Владимир Ильич и Мария Ильинична в это время, они оставляли все дела, чтобы слушать Шопена. Шуберт, Моцарт и Чайковский тоже напоминали Марии Ильиничне о сестре и матери, которых она нежно любила...

Однажды в 1927 году Надежда Константиновна вызвала меня к себе, когда я собиралась ехать в Швейцарию корреспондентом на экономическую конференцию. Расспросив, как всегда, подробно о том, что я делаю и пишу, она сказала:

— Вы будете в Берне? Там похоронена моя мать, прошу вас положить цветы на ее могилу.

Очевидно, Надежда Константиновна, человек необычайного ума и чуткости, уловила что-то в моем лице и сказала ласково, как только она умела говорить с людьми:

— Вы не ожидали именно этой просьбы. А знаете, Володя всегда, когда в последние годы бывал наездом в Петрограде, заезжал на могилу своего старого друга Елизарова, мужа Анны Ильиничны.

Я обещала Надежде Константиновне, что выполню ее просьбу, и действительно посетила скромную могилу на Бернском кладбище и положила букет красных роз.

В своих воспоминаниях Н. К. Крупская пишет:

«В марте у меня умерла мать. Она была близким товарищем, помогавшим во всей работе. В России во время обыска прятала нелегальщину, носила товарищам в тюрьму передачи, передавала поручения, она жила с нами в Сибири и за границей, вела хозяйство, охаживала приезжавших и проходящих к нам товарищей, шила панцири, зашивая туда нелегальную литературу, писала «скелеты» для химических писем и пр. Товарищи ее любили.

Домишко, где мы жили, был около самого бернского леса. И когда стало греть весеннее солнце, потянуло мать в лес. Пошли мы с ней, посидели на лавочке с полчаса, а потом еле дошла она домой, и на другой день началась у нее уже агония. Мы так и сделали, как она хотела, сожгли ее в бернском крематории.

Сидели с Владимиром Ильичем на кладбище, часа через два принес нам сторож жестяную кружку с теплым еще пеплом и указал, где зарыть пепел в землю».

В Швейцарии я побывала в горах неподалеку от Женевского озера. Сюда, по воспоминаниям товарищей по изгнанию, Владимир Ильич и Надежда Константиновна не раз ходили на длительные прогулки. Особенно любили они ранней весной собирать в горных долинах душистые нарциссы. Мне довелось видеть в мае заросли этих стройных серебрястых и очень ароматных цветов.

В 1929 году летом Надежда Константиновна заболела, и я пришла ее проведать. Меня встретила Мария Ильинична. Я никогда не видела ее такой встревоженной. Удивительно тонкие, очень красивые руки Марии Ильиничны все время беспокойно сжимались и разжимались. Она жаловалась, что Надежда Константиновна вовсе не бережет своего здоровья, много работает и читает до поздней ночи.

— Надя такая непослушная, — совершенно материнским тоном сказала Мария Ильинична.

Огромная, нежная дружба связывала этих двух необыкновенных женщин.

Через несколько дней Надежда Константиновна выздоровела и в свою очередь рассказывала мне, смеясь и поддразнивая Марию Ильиничну, как деспотически та отбирала у нее книги и мучила лекарствами...

Последний раз я встретила Надежду Константиновну в 1936 году. Я приехала к ней с писателем Ф. И. Панферовым. Когда бы я ее ни видела, меня снова и снова поражали ее необычная, какая-то совершеннейшая простота, приветливость и всесторонние знания. Она знала бесконечно много. Будь то история, педагогика, философия, литература классическая или современная, чувствовалось, что она глубоко знает предмет. Что-то неувядаемо молодое было в уме и памяти Крупской, несмотря на то, что в эту последнюю встречу лицо ее показалось мне отекившим и бледным. Как всегда, спросив, над чем я работаю, она снова посоветовала мне писать о женщинах Октябрьской революции и упомянула Инессу Арманд, которую назвала многосторонней и очень умной.

Ф. И. Панферов расспрашивал Надежду Константиновну о пребывании Ильича в 1917 году в шалаше близ Сестрорецка. Долго, интересно рассказывала нам Крупская об этом периоде.

Вспоминая Владимира Ильича, Надежда Константиновна все время говорила о нем только в настоящем времени:

— Ильич любит собирать грибы...

— Ильич мне говорит...

Для нее, как и для нас, он оставался живым.



Я видела Феликса Эдмундовича несколько раз. Помню, как в неудобной большой комнате с пыльными портьерами одной из меблированных квартир 2-го Дома Советов, нынешней гостиницы «Метрополь», за чайным столом он читал на польском языке стихи. Мицкевич и Словацкий никогда не звучали для меня столь музыкально и значительно, как в его устах. У Дзержинского был не сильный, но глубокий и приятный голос. Он пылко любил поэзию и знал ее. Феликс Эдмундович и сам писал стихи, но, как его ни просили в тот вечер, он не согласился их прочесть и отделался иронической самокритикой. Тогда же моя мать, некогда окончившая Варшавскую консерваторию, играла шопеновские прелюды и «Балладу». И по тому, как слушал и говорил о Шопене Дзержинский, я поняла,

как тонко и глубоко судит о музыке этот замкнутый, скорее молчаливый и суровый с виду, но по сути очень впечатлительный и чуткий человек.

За ужином, типичным для той поры в доме партийных работников и состоявшим из пшеничных лепешек, простокваши и черного хлеба, велись интересные разговоры. Коснулись молодой тогда ВЧК.

— Чекист, — сказал Дзержинский, — это три слова, начинающиеся на букву «ч», — честность, чуткость, чистоплотность. Душевная, конечно, — добавил он, улыбаясь одними глазами.

Позднее, году в 1923, я встретила Феликса Эдмундовича на Курском вокзале. Он был тогда наркомом путей сообщения и провожал своего заместителя, уезжавшего с государственным поручением за границу. На сером перроне Дзержинский показался мне особенно высоким в своей неизменной, до пят, не новой шинели. Он был тогда худ и по-юношески строен и двигался удивительно легко и плавно. Его одухотворенное удлинненное лицо с тонким носом и бородкой клинышком приводило на память портреты средневековых знатных флорентийцев и польских королей из рода Ягелло. Этот нестигаемый, мужественный коммунистический боец, одетый как солдат, обладал внешностью, которой мог бы позавидовать изысканнейший аристократ.

Перед отходом поезда не вяжется беседа и господствует гнетущее напряжение. Свисток паровоза и скрип тронувшегося состава принесли невольное облегчение. Как раз в эту минуту прибежал на перрон и вскочил на подножку вагона какой-то человек и, передав пакет, тотчас же спрыгнул наземь. Дзержинский подозвал этого неожиданного нарушителя железнодорожных правил и узнал в нем своего секретаря.

— Простите, Феликс Эдмундович, — сказал тот смущенно, — если бы я не сделал этого, то пакет не попал бы по назначению.

— И однако на ходу поезда запрещается вскакивать на подножку вагона. Я вынужден дать распоряжение, чтобы вас оштрафовали, — строго, но с улыбкой в глазах сказал Дзержинский. — А так как я косвенно тоже виноват, что подвел вас, отдав слишком поздно свое распоряжение, то штраф мы заплатим пополам.

В последний раз я встретила с Дзержинским в Кисловодске. Мы собирались вместе совершить прогулку к Красным камням. Я едва узнала в отеком, иссиня-бледном человеке в белой, подпоясанной старым ремнем косоротке Феликса Эдмундовича. Он был, видимо, уже очень болен, хотя и упорствовал, заявляя, что чувствует себя хорошо. Глаза его не улыбались, и он тщетно старался скрыть одышку, когда поднимался в гору. Несколько раз он нагибался и срывал цветы, и я заметила, как осторожно он переставляет ноги, обу-

тые в тяжелые сапоги, чтобы не наступить на красивое растение или муравейник. Постепенно лицо его оживлялось. Он рассказывал о Литве, где родился, о природе, которую любил так же нежно и сильно, как поэзию, музыку, живопись.

Вспомнил он и о долгих годах, проведенных в заточенье.

— Главное для революционера — не сдаваться, не опускаться и сохранять живыми мысль и душу.

Он рассказал о том, как постоянно тренировал волю в одиночной камере и боролся с апатией, ослабляющей больше, нежели отчаяние, которое рождает бунт и действие.

Слушая Дзержинского, я думала о его героической самоотверженной жизни, отданной безраздельно революции, коммунизму. Аскетически скромный, мечтательный, любящий все прекрасное, он не щадил себя в борьбе и труде.

Мне припомнился рассказ врача, который лечил его в эти годы. Дзержинский страдал упорной, тяжелейшей бессонницей — следствием жестокого переутомления. В течение нескольких месяцев он проводил на работе не только весь день, но и оставался ночевать в кабинете наркомата. Физически он чувствовал себя все хуже и хуже. Лекарства не приносили ему облегчения.

— Что бы вам, Феликс Эдмундович, съездить домой, — уговаривал его врач, — пообе-

дать в своей семье, лечь в постель вместо этого дивана.

Как-то, вконец усталый, Дзержинский последовал этому совету и признался затем, что действительно почувствовал себя заметно лучше. Но тщетно просили его друзья сократить часы работы и поберечь себя. Этот человек сгорел в чрезмерном труде, не дожив и до пятидесяти лет.

М. В. ФРУНЗЕ

В 1920 году Крым был очищен от врангелевской армии. В Мисхоре, несмотря на голод и трудности с доставкой продовольствия, дачи сбежавшей буржуазии и дворцы знати превращались в санатории для рабочих и крестьян. В одну из уцелевших вилл, расположенную недалеко от моря, приехали в 1921 году на отдых партийные работники. В их числе был и Михаил Васильевич Фрунзе с женой, ребенком и молодой свояченицей.

Помню, как в углу коридора прославленный воин чистил свои потрескавшиеся, изрядно прохудившиеся сапоги и что-то тихонько напевал. Я работала комиссаром Мисхорского района и чувствовала себя весьма значительной особой из-за браунинга, который носила на ремне гимнастерки. Мне было тогда пятнадцать лет.

— А, комиссарик, как нынче улов камсы в Алушке, будем мы есть рыбные котлеты на обед? — обратился ко мне с веселой улыбкой Фрунзе, продолжая чистить голенища.

Я увидела его свежее лицо, обрамленное каштановой бородкой, типичное для русского учителя. Очень хорош был у него взгляд светлых, смеющихся глаз.

Так мы познакомились. Жена Фрунзе Софья Алексеевна и ее сестра Маргарита оказались бесхитростными, приветливыми молодыми женщинами. Обе они много возились с восьмимесячной Танюшей. Фрунзе был необыкновенно нежный семьянин. Часто по вечерам, когда я заходила к ним в комнату, в эту пору недолгого отдыха, он играл со своей дочуркой, купал ее или укладывал спать. Он был так прост в обращении, что я не могла себе представить того большого места, которое он занимал в жизни нашей партии, в государстве и в гражданской войне как полководец. Была в нем неповторимая приветливость, благодущие и доброта. Он очень любил шутить и часто обращался ко мне: «товарищ комиссарик», с притворной серьезностью рапортовал, как старшему. На прогулках он столь умело подсвистывал птицам, что они отвечали ему трелями. Как-то он долго охотился за майским жуком, чтобы поймать его для своей девочки, и в конце концов был укушен ядовитой сколопендрой. Рука вспухла, но Михаил Васильевич шуткой разгонял беспокойство жены. Вообще этот обычно немногословный и серьезный человек среди

друзей и близких становился веселым и по-мальчишески шаловливым. Нельзя забыть его смеха, звонкого, захлебывающегося, радостного.

Несмотря на то что на Ай-Петри еще орудовали белые бандиты, а в санатории часто гас свет и за весь месяц пребывания там ни разу не было доставлено ни грамма сливочного масла и питание далеко не отвечало самым скромным потребностям, Фрунзе, его семья и товарищи были всегда всем довольны и наслаждались солнцем и воздухом.

Ближе познакомившись со мной, Фрунзе нередко терпеливо выпрашивал меня о моем детстве, побеге в Красную Армию, о планах на будущее. Не всем дано умение слушать так собеседника, как это делал он. Его искрящиеся синие глаза красноречиво отвечали на каждое услышанное слово и воодушевляли. Вероятно, столь глубокое знание людей он приобрел в долгой работе пропагандиста и командира.

Иногда Михаил Васильевич вспоминал о своем прошлом. Он был увлекательным рассказчиком.

Фрунзе родился в пограничном пестром, шумном и пыльном городке Пишпек Семиреченской области. Отец его служил там фельдшером. Девятнадцати лет стал Фрунзе большевиком и был арестован. Годом позже, в 1905 году, он — один из организаторов стачки иваново-вознесенских текстильщиков, а в декабре сражался на баррикадах Красной Пресни. На Лондонском и Стокгольмском съездах

он встречался с Лениным. Жизнь Фрунзе воистину легендарна. Он был рожден для борьбы. Дважды его приговаривали к смертной казни, более семи лет провел он на каторге в Сибири. Из огневых испытаний Михаил Васильевич выходил окрепшим и могучим, как мифическая птица Феникс.

Как-то у берега моря под плеск прибоя Михаил Васильевич размечтался и увлек нас всех пророческими рассказами о будущем. Он видел победоносные пролетарские армии, ведомые даровитыми, высокоразвитыми командирами. В сражении, конечно, участвует много машин. И хотя Россия тогда была еще отсталой страной, Фрунзе вдохновенно предсказывал неизбежность победы социалистических войск. . .

Смерть Фрунзе была огромным и совершенно неожиданным для партии ударом. Он умер совсем молодым, работоспособным, сильным. Его преждевременная смерть убила и Софью Алексеевну. Она всего на год пережила мужа, так и не примирившись с его потерей.

Прошло несколько десятилетий, а образ этого одухотворенного, отважного, талантливого человека не меркнет. Он всегда гордился тем, что состоит в партии коммунистов, и в памяти народа он остается одним из самых светлых, героических и незабываемых революционных руководителей и полководцев.

Есть люди, излучающие обаяние, как теплые лучи. Киров был из их числа. В его внешности не было ничего броского, необычайного. В толпе рабочих он казался одним из многих, но стоило увидеть его на трибуне, чтобы никогда не забыть ни прекрасного голоса, ни жестикуляции, ни вдохновенного лица этого прирожденного, выдающегося оратора.

Впервые я услышала Кирова в Баку, где он выступал на нефтяных промыслах. Мы приехали с ним вместе, а за час до этого в его квартире пили чай. Познакомившись с Сергеем Мироновичем, я ничего в нем не заметила особенного, разве что радушиное гостеприимство и любовь к животным. Он играл с веселой собачонкой, когда его жена Мария Львовна ввела меня в столовую, и тотчас же

принялся потчевать нас чаем и бутербродами. Но когда Киров прошел мимо множества рабочих на трибуну и, не снимая пальто, начал говорить, я не узнала его. Перед нами был другой человек, уверенный в правоте тех мыслей, которые излагал, властный, готовый как бы перекачать из своего сердца все, что собрал в нем для этих людей. Глаза его блестели, я заметила, каким сильным стал его рот природного оратора, рука птицой парила над зачарованными слушателями. Голос окреп и заполнил собой весь зал. Киров как бы вызывал на единоборство своих идейных врагов. Он казался мне подлинным рыцарем-победителем, с легкостью опрокидывающим противников. Вслушиваясь в то, что говорил Киров, я поняла, что сила его была не только во внешних ораторских данных, но и в содержании речи. Он много знал, и неожиданные примеры из истории, быта, литературы увлекательно вплетались в его речь, понятную, простую и убедительную. Киров был импровизатором в самом высоком смысле слова. Ему было о чем говорить. Он многое изучил, продумал, нашел.

В 1925 году мы встретились с Кировым и его женой на Кавказе, и я могла наблюдать его в повседневной жизни. На отдыхе он никогда не расставался с книгой и читал очень много, главным образом книги беллетристические и исторические.

Однажды мы долго бродили в горах. Киров рассказывал нам о Кавказе, его народах и особенно подробно о древней Колхиде. Он говорил с таким знанием предмета, точно был ученым, посвятившим этому жизнь. Но вдруг разговор, глубокий и сверкающий, как быстрая стремнина, коснулся какого-то высказывания Маркса. Киров оказался в новой и, однако, родной для него стихии. Он блестяще знал труды Маркса и Энгельса. Я робко спросила его, где он изучал марксизм.

— В тюрьме и ссылке. Это отличная академия, — сказал он, широко улыбаясь.

Тогда же узнала я, как любил Киров песни, особенно народные и революционные. Каждый вечер, когда мы все собирались на террасе, возле гостиной, где стояло пианино, он просил кого-либо петь и сам подтягивал, приглашая товарищей присоединиться к хору. Чего мы не певали тогда: и «Стеньку Разина», и «Мы — кузнецы, и дух наш молод», и волжские частушки.

Сергей Миронович возводил на себя напраслину, говоря, что медведь наступил ему на ухо, так как пел он вполне мелодично. Запомнилось мне, как старательно выводил он соло в полюбившейся всем в тот год песне «За Уралом живет плотник, золотистый-золотой».

Киров сызмала любил лес и мог подолгу с особой нежностью рассказывать о дремучей

тайге, об охоте на зверя и болотную дичь. В его доме всегда были четвероногие друзья. Мария Львовна подшучивала над тем, что муж ее знает не только собачью душу, но и собачий язык. Киров в одном из разговоров обратил мое внимание на замечательные страницы Джэка Лондона о собаках.

В начале тридцатых годов я в течение нескольких дней жила в Ленинграде у Кировых, на улице Красных зорь. Сергей Миронович приезжал домой поздно. Он казался одновременно и очень счастливым, каким бывает человек в процессе творчества, и очень усталым. Он часто говорил о том, что человек устроен несовершенно, так как вынужден спать и терять драгоценное время и не может осилить физически все то, что охватывает его мысль.

— Мозг наш куда лучше сконструирован, нежели остальной организм, руки не успевают за мыслью. Мысль парит уже в коммунистическом завтра, а руки делают еще только первые тракторы.

Как раз в это время Путиловский завод начал выпускать тракторы «Универсал». Каждое достижение в индустриализации страны было подлинным праздником в семье Кирова. Ленинград в те годы стал уже всесоюзной индустриальной лабораторией: первые опытные турбины, электрокабель, большие танки, величественные морские суда и много-много дру-

гих чудесных изделий машиностроения и химии ежедневно отправлялись из города Ленина во все концы Союза.

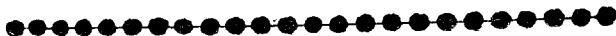
Мне невольно пришлось быть свидетелем редкого самообладания, присущего Кирову. Однажды мы с ним и Марией Львовной ехали в автомобиле по городу и внезапно на Невском проспекте столкнулись с проходящим трамваем. Стёкло в задней кабине машины разбилось от резкого толчка, мы все попадали со своих мест. Киров остался совершенно спокоен и принялся шутить.

— Вот и приключение, а то какой интерес ездить в автомобиле без того, чтобы не рисковать при этом головой или хотя бы носом, — смеялся он.

В день, когда траурный поезд доставил из Ленинграда тело Кирова, Москва поднялась и скорбно зашумела. Я с трудом пробралась сквозь толпу в Дом союзов. Был зимний вечер, и зал напоминал мне горькие дни, когда мы прощались с Лениным. Тот же сумеречный свет обтянутых крепом люстр, запах вянущих цветов и морозом прохваченной верхней одежды, те же глаза — недоуменные, подернутые слезами, мелодии похоронных маршей и приглушенные голоса людей. На постаменте гроб, и в нем человек, похожий на того живого, которого я знала. И все-таки только похожий, а не он. Смерть стирает индивиду-

альные черты, мертвец так же разнится от живого, как сон от бодрствования, как смерть от бытия.

Есть люди, с которыми как-то не вяжется мысль о смерти. В Кирове больше, нежели в ком бы то ни было ином, ощущалась неиссякаемая энергия. Сергей Миронович был стремителен и силен, как сама жизнь, которую он так страстно любил и ценил.



Это было летом 1935 года. На прогулку по лесу отправились Георгий Михайлович Димитров, его жена, румяная, гладко зачесанная, русоголовая Роза Юльевна, остроумный, разговорчивый Дмитрий Захарович Мануильский и я. Мы спустились по тенистой тропе мимо пруда и углубились в еловую рощу. Димитров срезал с ольхи большую ветвь и принялся на ходу счищать свежую влажную кору. Мануильский досказал какую-то забавную историю, вызвав у всех нас беспечный смех. Вдруг Роза Юльевна громко вскрикнула и отпрянула, уронив корзиночку с рукоделием. Она наступила на змею. Навстречу нам, извиваясь и шипя, поднялась отвратительная узкая черная гадюка.

В каждом человеке живет ему самому неизвестный атавистический ужас перед пресмы-

кающимися. Я почувствовала тяжесть в ногах и как бы приросла к месту.

Но прежде чем кто-либо из нас отдал себе отчет в опасности, Георгий Димитров, замахнувшись палкой, пошел на змею. Меня приворожили глаза и огоньком мелькнувший ярко-красный язычок. Димитров ударил гадюку, но не убил ее. Она, отчаянно шипя, метнулась к нему. И снова, не промахнувшись, он опустил на острую, как клинок, головку толстую ветку. Змея, ослабев, распласталась у его ног.

— Ну и самообладание, — сказал Мануильский. — Подлинно ты похож теперь на Георгия Победоносца, пронзившего дракона.

Роза Юльевна, тяжело дыша, поднялась на цыпочки, так как была значительно ниже мужа, и вытерла его чуть вспотевший большой лоб. Димитров улыбнулся, сказал что-то успокаивающее жене и затем с явным отвращением отбросил ногой издохшую змею.

Мы пошли дальше молча. Я вспоминала о том спокойствии и отваге, которыми потряс мир Димитров во время недавнего Лейпцигского процесса. Это был истинно бесстрашный человек.

... Впервые я увидела Георгия Димитрова в Москве зимой 1934 года на вечере в ВОКСе (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Все присутствующие там с откровенным волнением ожидали его появления. Незадолго перед тем Димитров вернулся из Германии после провокационного, подстроен-

ного фашистами Лейпцигского процесса, увенчавшего лаврами его имя. Только верность идее коммунизма и огромное мужество спасли его от смерти.

Когда Димитров вошел, нас всех поразил цвет его немного одутловатого лица, болезненный, зеленовато-пепельный. Запомнились мне его великолепная шевелюра и беспокойные, несколько резкие движения рук. Он много говорил с нами в тот вечер. Недавнее прошлое все еще кипело в нем. Характерная черта для узника, только что вырвавшегося на свободу.

Говорил Димитров нетерпеливо, сопровождая каждую фразу порывистой жестикуляцией. Русским языком он владел отлично, но в выговоре слышался мягкий акцент. . .

Летом 1935 года в подмосковном санатории «Барвиха» я оказалась соседкой Димитровых по комнате. Мы сидели за одним столом. Часто я приходила в часы отдыха на террасу к Димитровым. Обычно, кроме них, там же находился и Дмитрий Захарович Мануильский. В ту пору я никогда почти не видала Георгия Михайловича сумрачным или недовольным. Он мог бы быть донором жизнерадостности, щедро отдающим другим избыток веселья и хорошего настроения.

Жена Димитрова, Роза Юльевна, говорила по-русски с трудом и стеснялась этого. Она недавно поселилась в Советском Союзе. Это была превосходно воспитанная, выдержанная и очень приветливая женщина. Я не помню, чтобы ее руки когда-нибудь были свободными.

Всегда она что-либо переписывала, читала или вышивала. Даже на прогулке с ней была изящная рабочая корзиночка, и стоило ей присесть, как она тотчас же принималась за свое нескончаемое «ришелье» или «гладь». Она хорошо знала немецкую и славянскую поэзию, и не раз я слышала ее читающей наизусть Гейне. Димитров относился к жене с нежной почтительностью и часто, говоря с кем-нибудь в ее присутствии, искал ее взгляда.

В эту вторую встречу Георгий Михайлович выглядел совсем иначе, чем на вечере в ВОКСе. Он заметно помолодел, посвежел. Исчезла одутловатость лица, ярко блестели черные глаза. У него была привычка, может быть после заключения, но скорее свойственная живому, действенному темпераменту, во время разговора ходить, внезапно останавливаться на полуслове и снова двигаться. Я почти не помню его сидящим, разве только в столовой.

Письменный стол Димитрова был завален стопками газет на разных языках, а также книгами. Среди них много современной художественной литературы, творения мировых классиков. Я несколько робела в присутствии Димитрова, так как скоро заметила, что он весьма осведомленный и придирчивый собеседник, о чем бы ни заходила речь. С ним нельзя было говорить, не будучи глубоко знакомым с предметом беседы. Он не терпел пустословия, но очень любил умные шутки и веселые пересказы, мастером которых был Ма-

нуильский. В то время эти два совершенно различных по характеру человека были очень дружны.

Оба они любили музыку и как-то в лесу долго и очень приятно пели болгарские и украинские песни.

Мануильский был очень мнителен, и это вызывало насмешки Димитрова, который относился совершенно равнодушно к опасности и смерти.

Вскоре у Димитровых родился долгожданный ребенок, сын Димитрий.

Я приехала к ним на дачу, недалеко от Москвы, возле Кунцева. Дом дышал счастьем. Димитров и его жена как-то даже стеснялись исполнения их давнишнего желания.

— Нам обоим ведь уже за сорок, — сказала Роза Юльевна, еще более румяная и молоджавая, нежели всегда.

Димитров расспрашивал меня о моих детях и их детских болезнях. Вместе с радостью в семью Димитровых вошел впервые страх, боязнь за жизнь ребенка.

Из детской, убранной белым тюлем и голубыми бантами, Роза Юльевна увела меня в свой кабинет. Я невольно отступила, увидев на столах и подоконниках множество различных урн и гипсовых надгробий. В ответ на мой недоуменный взгляд Роза Юльевна сказала:

— Это образцы памятников на могилу первой жены Димитрова Иванки. Она была очень талантливая и замечательная женщина

и умерла от душевного потрясения, вызванного арестом Георгия Михайловича.

Димитров был горяч, вспыльчив в споре, который изредка возникал у него с Мануильским, когда они обсуждали международные вопросы.

Уже в 1935 году Георгий Михайлович убежденно доказывал, что фашизм очень силен, что он вызовет войны и будет стоить миру огромного количества человеческих жертв. В то время мне, как и некоторым другим, казалось, что Гитлер, несущий мракобесие и дикость, вот-вот падет, что немецкому народу нетрудно избавиться от этого смертоносного нароста. Но Димитров совершенно не выносил легковесности суждений.

— Гитлер даже не Муссолини, это страшная, убийственная угроза цивилизации, — являл Димитров.

Прошло очень немного времени, и трезвое политическое провидение Димитрова подтвердилось. Немецкий фашизм оказался стоглавой гидрой, залившей мир кровью. И с тем же мужеством и спокойствием, с каким Димитров на моих глазах расправился с черной гадюкой, он боролся против немецкого фашизма.



В конце двадцатых годов я закончила свою книгу «Женщины эпохи французской революции» и отнесла ее в Госиздат.

Трепеща, волнуясь, отдала я на суд редакции свое детище. Беспокойство мое оказалось не лишним основания. Литературный жанр, избранный мной, — воссоздавая судьбы женщин разных классов, рассказать о французской буржуазной революции — вызвал настороженное недоумение рецензентов.

— В такой манере у нас писать не принято, — сказали мне. — Впрочем, мы не решили окончательно: печатать или нет ваши новеллы. Хорошо бы вам обратиться к маститому историку, Покровскому например, с просьбой написать к книге предисловие.

Крайне опечаленная, покинула я издательство. Чувство, испытываемое писателем по отношению к своей рукописи, можно сравнить разве что с материнским. Книга вобрала все лучшее из души своего создателя, и беспокойство за ее судьбу не оставляет его никогда. Книги — наши дети, несущие заботы, горе или радость, дающие волю к творчеству либо горькие разочарования.

Трудности, вставшие на пути к читателю книги «Женщины эпохи французской революции», побуждали меня к действию.

Михаила Николаевича Покровского до той поры я никогда не видала, но была наслышана, что человек это строгий, умный, редчайших знаний. Он был не только виднейший историк-марксист, но и боевой политический деятель, первый председатель Московского Совета депутатов после Октябрьской революции, большевик с 1905 года.

Знала я, что Ленин ценил и уважал Покровского, с которым был знаком с давних лет эмиграции.

Я решила послать Михаилу Николаевичу рукопись книги и, сообщая кратко о себе, приобщила, что училась на рабфаке имени Покровского при МГУ.

Вскоре по телефону меня пригласили на дом к Покровскому. Я помню, с каким волнением подошла к маленькому домику в Нескучном саду, где жил тогда Михаил Николаевич. На узкой террасе стояла, опираясь на козлы, жена Покровского, Любовь Николаев-

на, худенькая женщина с тонко очерченным лицом, русой косой, венцом лежавшей на гладко зачесанной голове, и незабываемыми огромными глазами цвета лесных колокольчиков. Узнав, кто я, и заметив мое смущение, она сказала неожиданно сильным мелодичным контрально:

— Вас, верно, напугали, что Михаил Николаевич сердитый, раздражительный, колкий на слова, не правда ли? Успокойтесь, ваша книга, как мне кажется, пришлась ему по душе.

Мне было в ту пору немногим более двадцати лет. Я работала в газете и впервые осмелилась выступить в качестве беллетриста, да еще в необычном жанре исторического портрета. Я училась этому у Романа Роллана и Стефана Цвейга, тщательно прослеживала технику лаконичного описания у Пушкина, Лермонтова и Мериме.

Издательство окатило меня струей равнодушия и непонимания. Естественно, что слова жены Покровского ободрили меня. В эту минуту из дома вышел Михаил Николаевич, и я снова оробела. Мне показалось, что он чем-то раздосадован. В действительности он был болен.

— Так, так, — сказал он, пристально глядя на меня из-под стекол очков, — автор-то юн, молод, оказывается, чрезвычайно. Ну, это не помеха, наоборот, преимущество.

Заметив, что жена хочет уйти, Покровский обратился к ней просительно:

— Куда же ты, Любаша? Останься. Мы ведь много говорили с тобой о работе товарища Серебряковой и сошлись в оценке. Самой законченной новеллой, — продолжал он, обращаясь уже ко мне, — нам обоим показалась «Манон Ролан» — это подлинная историческая живопись. Самовлюбленную жирондистку вы раскусили до конца. Гёте писал, что готов простить революции все, с его точки зрения, ошибки за то, что в ее пору появляются дамы, подобные этой влиятельной, хитрой закулисной руководительнице крупной буржуазии в конвенте. А Маркса раздражала сия тщеславная супруга Ролана. Роль женщин в политике бывала очень значительна. Вот Александра Федоровна Романова, например, царица, — это же было настоящее политбюро при Николае. Читали ее переписку с царем, мемуары Витте и других царедворцев?

Покуда Михаил Николаевич говорил со все нарастающим оживлением, я смелее разглядывала его. Он казался мне давным-давно знакомым. Внешне Покровский выглядел типичным русским интеллигентом конца прошлого и начала нынешнего века. Лица, схожие с ним, отмеченные печатью напряженного умственного труда, внутренней борьбы, исканий, упорной воли и мышления, смотрят на нас с многих полотен Репина и других великих реалистов-душеведов.

Густая длинная седая борода лопатой, подстриженные гладкие волосы, чуть выпуклые внимательные глаза напомнили мне дорогие

лица неутомимых ученых, революционеров, писателей. То же вдохновенное выражение усталых глаз, прячущихся в излучинах морщинистых век, встречала я с детства в своей семье, в лицах участников первых после Октября большевистских демонстраций, в комитетах РКП(б), на всех дорогах революции, в политотделе и Реввоенсовете Красной Армии, на съездах Советов и партии.

Ссутуляясь, тяжело дыша, прохаживался по террасе Михаил Николаевич. Сухая серовато-желтая кожа его лица, нервное подергивание кистей рук, внезапная резкость высокого голоса были следствием не только огромного переутомления, но и развивавшейся уже смертельной болезни.

Говорил Михаил Николаевич быстро, легко. Чувствовалось, что он привык к большим аудиториям, к лекционной работе и был превосходно вооружен знаниями во многих областях гуманитарных наук.

Поразительна была осведомленность Покровского во всем, что касалось Французской революции 1789 года. Он говорил так, точно сам был ее участником, цитировал законодательные документы Парижского учредительного собрания, статьи «Прав человека», высмеивал историков, вроде Мишле, не понимавших классовой основы борьбы партий в конвенте, остро словил, вспоминая недавний Всемирный исторический конгресс, на котором был делегатом, подшучивал над узостью воз-

зрений буржуазных ученых дуалистической школы.

— Учение Маркса и Ленина, — говорил он, — это лампа Аладдина. Оно удивительно просто и неопровержимо осветило все темные закоулки истории. Какой ребяческой наивностью кажется теперь утверждение разных «специалистов» и писателей, что насморк Наполеона или нос Клеопатры роковым образом предопределили ход исторических процессов и судьбу мира!

Покровский остановился, снял очки, чтобы протереть стекла, и я увидела в его сосредоточенно смотрящих перед собой глазах глубокую человечность, мягкость и грусть, не исчезающую даже тогда, когда он глухо посмеивался в бороду.

Очень понравилась мне и Любовь Николаевна. Превосходно воспитанная, сдержанная, женственная, она, очевидно, живо интересовалась всем, чем жил ее муж. Глубокая привязанность Покровского к жене не могла укрыться от посторонних. Проведя несколько часов в доме Покровских, я ушла под сильным впечатлением. Удивительно целомудренная атмосфера, полная высоких интересов, мыслей, взаимопонимания, царила в этой семье. Там хотелось думать вслух, спорить, шутить, но нельзя было опуститься до пошлых перекусов, сплетен, анекдотов, циничных недомолвок. Позднее такие же чистые, исполненные искренности, глубоких чувств и дум отношения я наблюдала у нас, в семье старых боль-

шевиков Смидович, и в Англии, у Беатрисы и Сиднея Вебб.

Среди этих уже немолодых людей, как и в домике в Нескучном саду, старость представлялась красивой, мудрой, творческой порой человеческого бытия. Покровскому и его жене было в те годы за шестьдесят, и, однако, это были духовно молодые люди. Общение с ними несказанно обогащало меня, и я чувствовала себя счастливой тем, что они оценили мою книгу.

Покровский, прежде чем написать предисловие, потребовал от меня тщательной отделки некоторых портретов. Он оказался неумолимым и крайне требовательным педагогом и редактором. Не один раз возвращал он новеллу о Марате и Шарлотте Кордэ. Отправляя мне рукопись, он обычно прилагал к ней пространные письма, в которых указывал, что именно не удовлетворило его в моей работе. Тут же он пояснял, какими видятся ему историко-биографический портрет и роман нового типа, создаваемые художником-марксистом.

Историческая правдивость казалась ему главной привилегией исторического произведения эпохи социалистического реализма. Не переодевать в маскарадные костюмы той или иной эпохи случайно взятых из нашей действительности людей, а воссоздавать исторических героев в их естестве и подлинности — вот чего требовал Покровский от писателя, черпающе-

го материал из сокровищницы истории. А это, считал он, может сделать только литератор, мыслящий категориями марксизма-ленинизма. Любая тема станет новой, первозданной, если будет воссоздана со всей исторической правдивостью.

Не могу без чувства отчаяния думать о том, что пачка писем М. Н. Покровского, отобранная у меня при аресте, несмотря на усиленные поиски теперь, все еще не обнаружена.

Предисловие, написанное этим замечательным историком, которое сопровождало четвертое издание — с 1929 по 1935 год — моей книги «Женщины эпохи французской революции», лишь в малой степени повторяет то, чему терпеливо и настойчиво учил меня Покровский на словах и в письмах. Работая позднее над своей трилогией «Прометей», я неукоснительно следовала многим его советам.

В те же годы я близко сошлась с Любовью Николаевной и жадно слушала ее рассказы о прошлом. В ранней молодости она оставила богатый купеческий родительский дом и последовала за Михаилом Николаевичем в эмиграцию.

— Я полюбила его, когда он был неуклюжим, замкнутым в себе репетитором, дававшим уроки в нашей семье. Меня сразу же поразили его смелые суждения и знания.

В Париже, в изгнании, Покровские встречались с Лениным и Надеждой Константинов-

ной. Жилось им не всегда легко материально, но интересно духовно. Никогда Любовь Николаевна не пожалела, что порвала с родными, возмущенными ее браком с революционером.

— Какое счастье, — заявляла Любовь Николаевна, — что я встретила Михаила Николаевича и переменяла быт сытой праздной купчихи на ючевническую жизнь жены борца и ученого! Если бы вы знали, как великодушен и глубок Михаил Николаевич.

В 1932 году я узнала, что Покровский безнадежно болен. Любовь Николаевна позвала меня проведать больного. Помню, как пришла я в больницу на улице Грановского и поднялась на второй этаж. Приоткрыв тихонько дверь в сумрачную небольшую палату, я услышала звучный голос Любови Николаевны. Она декламировала стихи Лермонтова:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...

— Читай, Любушка. Я точно вижу поле, колосающую рожь, и дышится мне легче. Как прекрасен мир...

Я подошла к постели больного и едва узнала Михаила Николаевича. Он был изможденным, но из-под очков по-молодому остро блещали глаза. Весь остаток жизни сосредоточился в его взгляде. Он принялся забрасывать ме-

ня вопросами с тем оживлением, которым сильные люди пытаются прикрыть физическую слабость. Я пробыла очень недолго в палате, чтобы не утомить его. Выходя, услышала, как, приглушая голос, Любовь Николаевна снова читала:

И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...

Вскоре, будучи в Лондоне, я прочла в газете о смерти Михаила Николаевича Покровского и от души оплакала его. Позднее, вернувшись в Москву, я много раз бывала в доме на улице Серафимовича, в неудобной квартире, где доживала свои дни Любовь Николаевна. Больная нога мешала ей ходить, и она часто лежала. Все ее мысли были об умершем муже, о прожитом.

В 1936 году я была арестована и, лишь освободившись, узнала, как растоптано было в годы культа имя этого бойца ленинской гвардии. Моя книга «Женщины эпохи французской революции» также несла на себе политическое проклятие, ввиду того что ей было предпослано предисловие Покровского. В 1958 году книга вышла в Гослитиздате, значительно сокращенная, переделанная, с предисловием другого видного историка, взявшего ее под свою защиту, но не смогнувшего добиться включения всех новелл в это издание.

Теперь имя Михаила Николаевича Покровского снова зазвучало, и с него сняли густую

накипь клеветы и оговоров. Книга «Женщины эпохи французской революции» снова вышла в свет такой, какой подписал ее к печати Покровский.

Для меня Михаил Николаевич Покровский навсегда останется человеком высокой, смелой и светлой души, талантливейшим ученым, пламенным коммунистом.

Материалы о М.Н.Покровском и некоторые его труды:
<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p99656966.htm>



Кто из нас в отрочестве не возводит, как язычник, в своем воображении кумирен, которые населяет любимыми героями из книг и жизни! Молодость — это поиски совершенства, томящие сомнения, стремление ко всему лучшему на свете.

Мне не было полных четырнадцати лет, когда я поместила среди своих божков Александру Коллонтай, вскоре после того как увидела и услышала ее на одном из митингов в Киеве. Она показалась мне образцом отваги, многогранной культуры и романтической красоты.

Было жаркое лето 1919 года. К столице Украины в обход двигались белые армии. Прошло всего несколько недель после трипольской трагедии. В неравной схватке с бандитами атамана Зеленого погибли киевские комсомольцы.

Город жил трудно, беспокойно. По Крещатику шныряли в разном обличи подозрительные личности, прогуливались праздные снобы и эстетствующие барышни, громко обсуждая преимущества имажинистов и футуристов перед реалистической школой в поэзии и живописи. Рабочие вооружались и готовились к отпору наступающей контрреволюции. Бюро Киевского губкома комсомола собирало нас ежедневно на военные занятия. Мы жаждали подвига во имя идеи.

Как-то в сумерки в угрюмом, пропахшем конским потом, навозом и плесенью здании цирка собрались перед отправкой на фронт красноармейцы, рабочие и киевские комсомольцы. На этом собрании была и я.

С речью, как мы знали, должен был выступить кто-то из членов украинского правительства. Внезапно на подмостки поднялась стройная, хрупкая женщина в изящном синем платье и огромной соломенной шляпе. Дымчатый прозрачный шарф обхватывал тулью и небрежно ниспадал книзу. Уверенным движением женщина, вытащив длинную шпильку, сняла и положила на стол свой головной убор, тряхнула пепельно-русыми вьющимися волосами и начала говорить. Недоуменно и скорее неодобрительно смотрели на нее красные воины.

— Кто это, кто?

— Нарком агитации и пропаганды Украины Коллонтай, — услышала я чей-то шепот.

Не прошло и нескольких минут, как зал затих, и все присутствующие подались вперед.

зачарованные необыкновенным трибуном. Сильный голос, напоминавший звук виолончели, артистическая дикция, умные и доходчивые слова, в которые облачались мысли, сила ораторского воздействия поражали.

В моем юном воображении Коллонтай представляла то Валькирией, то красной Жанной д'Арк — отважной воительницей революции. Она говорила о неизбежной победе над врагами советской власти, о земле, которую получили крестьяне, о борьбе за счастье трудящихся и будущем, таком прекрасном, какого еще никогда не было на земле. Я заглянула в глаза стоявших рядом бойцов и увидела в них свет, идущий от души.

Коллонтай нашла главное, что требуется от докладчика, — ключ к человеческим сердцам. Когда она кончила, под куполом старого цирка раздались неистовые рукоплескания, и все участники митинга стихийно двинулись к зданию бывшей Киевской думы, где находился в ту пору губком партии.

Впереди колонны шла Александра Михайловна, и летний ветер слегка раскачивал шарф на ее широкой, похожей на сомбреро шляпе.

— Ей бы войска вести на бой, то-то бежал бы ворог.

Позднее вместе с несколькими комсомолками я пришла в бывшую гостиницу «Континенталь», где жила Коллонтай. Она приветливо встретила нас, предложила морковный чай, остывавший в большом чайнике на столе, и заговорила. Тогда-то впервые в жизни услышала я

о Теруань де Мерикур, о Луизе Мишель и многих других женщинах, имена которых вошли в историю борьбы человечества за свободу. Я не решилась вымолвить ни слова, остро страдая от сознания своего невежества.

«Как много надо учиться, чтобы быть, как эта женщина!» — думала я со страхом, точно подошла к крутой и высокой горе.

В следующую встречу Александра Михайловна посоветовала нам прочитать «Женщину и социализм» Бебеля, статьи Клары Цеткин, Инессы Арманд и Розы Люксембург.

Новый мир чуть приоткрылся мне. Но войти в него я смогла значительно позже. Вскоре начались бои за Киев. С путевкой комсомольского губкома я отправилась в 13-ю Красную Армию, штаб которой находился в Ливнах Орловской губернии.

Лишь в 1921 году, учась на рабфаке, я начала читать книги, на которые указала мне Коллонтай. Она в это время работала в Москве в женотделе ЦК партии. Ее выступления на собраниях, статьи и беседы прочно осели в моей памяти и толкнули к изучению истории феминизма.

— Тысячелетиями, — говорила Александра Михайловна, — женщина обрекалась на принижающий, изнуряющий труд или на полную праздность. Лишенная всяких прав, женщина, даже если она принадлежала к привилегированному классу, неизбежно отставала от мужчины в развитии своих творческих сил. «Кухня, семья, церковь» — таков знаменитый

треугольник, который буржуазия определила как жизненное поприще наше. Сколько дарований, талантов, способностей погибло в этом заколдованном геометрическом тупике.

Вопросы, связанные с женским равноправием, всегда глубоко волновали Александру Михайловну.

— Мало иметь все права, надо духовно догнать мужчину, идти с ним нога в ногу, — не раз повторяла она. — Советская власть осуществила мечты женщин, но права обязывают.

В конце восемнадцатого века одна из видных деятельниц Великой французской революции тщетно добивалась принятия в члены якобинского клуба. Ей отказали потому, что она женщина. В постановлении об этом сказано, что, хотя церковный собор в Маконе признал у женщин наличие души и разума, тем не менее место ее у домашнего очага. Конвент декретом запретил все стихийно возникавшие тогда женские клубы и объединения. И это произошло в пору наивысшего подъема буржуазной революции, потрясшей всю феодальную Европу.

А в 1919 году Ленин писал: «За два года Советская власть в одной из самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равенства ее с «сильным» полом столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе передовые, просвещенные «демократические» республики всего мира».

В начале двадцатых годов мне довелось как-то провести с Александрой Михайловной почти целый день. Общение с внутренне значительным

человеком так же обогащает, как незнакомый город, как чужая страна.

Александра Михайловна не терпела праздности. Но чем бы ни занималась, она не забывала подумать о своей внешности. И всегда в ее внешности было что-то праздничное, продуманно красивое.

— Ни мужчина, ни женщина не смеют наружно опускаться, неряшливость не может быть оправдана занятостью, — говорила Коллонтай.

Я всегда заставляла ее нарядной, подобранной, оживленной. Стопка книг на нескольких языках обычно лежала на ее столе рядом с кипой газет различных стран.

Однажды Александра Михайловна протянула мне томик Ницше и сказала:

— Я только что перелистала этого мрачного вещателя. Он, как и горе-философ Вейнингер, был помешан на женоненавистничестве. Вот его афоризм: «Что может встретиться реже, нежели женщина, которая знала бы, что такое наука». Это напоминает мне случай с одним немецким ученым, изучавшим свойства мозговой коры. Он доказывал, что мозг женщины весит значительно меньше, нежели мужской. Этим он пытался доказать неспособность женщин мыслить и творить. И что же, когда сей почтенный муж науки скончался, вес его мозга оказался значительно легче мозга женщины.

Александра Михайловна залилась мелодичным заразительным смехом.

Случалось, что, придя к ней, я тут же усаживалась за работу.

— Вот вам книги, блокнот для выписок, устраивайтесь поудобнее, и не будем мешать друг другу, — предлагала мне Коллонтай, если бывала чем-либо занята.

И в течение нескольких часов мы молчали, поглощенные каждая своим делом. Раз она позвала меня на встречу с делегатами, прибывшими на очередной конгресс Коминтерна. Торжественный вечер происходил в зале Московского комитета партии, находившемся на Большой Дмитровке, в большом сером доме в глубине двора. Первым выступил итальянский коммунист. Его пылкое приветствие, закончившееся пением боевого гимна «Bandera rossa», перевела на русский язык Коллонтай. Затем заговорил англичанин, и снова вслед за ним на трибуну для перевода поднялась Александра Михайловна. Она же донесла до нас слова шведа, немца и француза. Коллонтай была редким полиглотом и превосходно владела многими иностранными языками.

Однажды она поспорила с давнишним своим другом А. Г. Шляпниковым из-за какой-то цитаты Маркса и, когда была найдена книга, оказалась правой. Она превосходно знала все труды Ленина и постоянно вспоминала его мысли и слова.

В начале двадцатых годов она задумала писать повести под названием «Любовь пчел трудовых». Но дебют ее в области беллетристики оказался неудачным. Революционный трибун, руководитель женского движения, дипломат,

публицист, Александра Коллонтай не стала писателем.

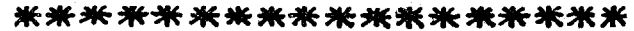
В 1923 году Коллонтай уехала на работу за границу. Первая советская женщина-посол, она пользовалась всюду, где находилась, всеобщим уважением.

Еще в годы эмиграции Александра Михайловна жила в Дании и Норвегии. Она вернулась в Осло должным послом Советского Союза. Обширные знания, такт, очарование, исходившие от этой умной, волевой женщины, создавали ей неизменно большой авторитет повсюду, где она появлялась. С большим успехом читала она лекции в университетах Скандинавии, высоко поднимая престиж государства, представителем которого была.

Коллонтай превосходно знала и восторженно отзывалась о замечательных писателях полуострова: Мартине Андерсене Нексе, Сельме Лагерлёф, Андерсене, Ибсене, Гамсуне, Карин Михаэлис; она любила строгую и мощную природу севера и красочно описывала многоцветные фиорды и угрюмые скалы.

Однажды, приехав ненадолго в Москву, Александра Михайловна подарила мне партитуру «Пер Гюнта». По ее словам, великий Григ проник в этом творении в тайное тайных души норвежского народа, прямодушного и мечтательного.

За долгие годы пребывания в Швеции и Норвегии Коллонтай приобрела множество преданных ей друзей. Имя ее широко известно и чтимо там и поныне.



Наши встречи со времени отъезда Александры Михайловны стали редкими. В последний раз она навестила меня в 1935 году. Коллон-тай было уже шестьдесят три года. Она значительно пополнела, но возраст сказывался только в отяжелевшей походке, лицо же оставалось по-прежнему миловидным, а взгляд — живым, пронизательным. С мягким юмором рассказывала нам Александра Михайловна о своих многочисленных встречах и путешествиях по Европе и Мексике. Тогда же, по моей просьбе, она рассказала о своей молодости в дворянской семье, об уходе от родных, о кипучей революционной подпольной деятельности, знакомстве и переписке с Лениным. С первых дней Октябрьской революции Александра Михайловна работала на посту комиссара общественного призрения. Говоря о личной жизни, она сообщила с улыбкой, что записью ее брака с Павлом Дыбенко была начата первая книга актов гражданского состояния в Советском Союзе.

— Много принесла доброго с собой людям наша революция! Раскрепостила все, даже любовь, разрушив лицемерный институт религиозного брака! — сказала она.

Далеко за полночь расстались мы с Коллон-тай, договорившись встретиться, когда она снова приедет в отпуск на родину. Но судьба нас больше не свела.

Чудесные люди составляют ленинскую большевистскую гвардию. Их великая бескорыстность, пренебрежение к своим личным удобствам, не потушающее горение, самоотверженность и преданность идее граничат с аскетизмом. В этой славной плеяде одной из первых видится мне Елена Дмитриевна Стасова.

Помню себя пятнадцатилетней девушкой, вернувшейся в 1920 году из Красной Армии. Центральный Комитет нашей партии находился тогда на углу Моховой и Воздвиженки, и вход был там, где теперь прибита доска в память Михаила Ивановича Калинина. С трепетом поднималась я на один из верхних этажей идейного штаба революции, направлявшего жизнь страны и флота. Мимо меня торопливо проходили люди в шинелях, кожанках, с вдохновен-

ными лицами, поглощенные какими-то важными мыслями.

В одном из более чем просто обставленных кабинетов я впервые увидела Елену Дмитриевну. Тоненькая, стройная, очень моложавая, она напомнила мне портрет мальчика на одной из старинных скандинавских гравюр. Я пришла просить Стасову о направлении на рабочий факультет. Поправив пенсне, Елена Дмитриевна задержала на мне долгий, испытующий взгляд.

— Да, учиться обязательно надо, и не откладывая, тем более что жизнь уже преподала вам много полезных уроков.

Исполнив мою просьбу, Стасова дружелюбно протянула руку на прощание.

Мы встречались со Стасовой еще не раз, но первое впечатление не рассеивалось, а утверждалось. Целомудренная чистота, нравственное обаяние, правдивость без компромиссов, высокая культура и самоотверженное служение партии — вот те черты, из которых складывается образ этого неутомимого борца-революционера.

Прошло много лет со дня, когда я впервые увидела секретаря ЦК нашей партии Стасову. Ушли навсегда годы культа личности. Елена Дмитриевна по-матерински отнеслась к моей старшей дочери, Зоре, вернувшейся из ссылки в Москву, когда я еще находилась в заключении. И не одной Зоре помогла Стасова. Много безвинно осужденных людей нашли у несгибаемо волевой, справедливой коммунистки, друга Ленина, защиту, чуткое внимание и заботу.

Каждого, кто общается с Еленой Дмитриевной, очаровывает ее простота, светлый, острый ум, благожелательность. Я неизменный читатель всего, что пишет эта исключительная женщина. Ее внутренняя культура, многогранность интересов производят глубокое впечатление. Этим Елена Дмитриевна сродни тем, кто с Лениным создавал нашу партию. Как и Глеб Кржижановский, Феликс Дзержинский, Инесса Арманд и многие, многие другие, Стасова пылко любит искусство, хорошо знает живопись, литературу и музыку. В одной из своих статей Елена Дмитриевна пишет:

«...Я выросла в музыкальной семье. Отец мой был другом Михаила Ивановича Глинки. С детства я знала участников «Могучей кучки» и знакомилась со всеми их новыми произведениями еще до того, как они появлялись в печати или на сцене. Дядя мой, Владимир Васильевич Стасов, немало копий сломал в защиту новаторов музыки — «кучкистов». Это он знакомил русскую публику с такими гигантами в области музыки, как Берлиоз и Лист, и с новой порослью, поднимавшейся вслед за «Могучей кучкой», — Лядовым, Глазуновым, Арениным, Блуменфельдами».

Елена Дмитриевна настойчиво заботится о том, чтобы музыка вошла в повседневную жизнь советских граждан, неся им радость, какую она сама от нее получает.

В семье Стасовой было много высокоодаренных людей. Самая обширная, исчерпывающая биография Жорж Санд принадлежит перу се-

стры Елены Дмитриевны, выпустившей свой признанный во всем мире труд под псевдонимом «Владимир Каренин».

Старость не коснулась действенного ума и души Елены Дмитриевны Стасовой. В девяносто лет, почти лишившись зрения, она так же страстно относится ко всему, чем живет Советская страна, так же терпеливо выслушивает всех, кто несет ей справедливую жалобу или просит совета. Дух ее зряч и бодр. Мысль чиста и крылата.

Много в партии Ленина видела я неповторимых, особенных людей, высоко одаренных музыкантов, живописцев, литераторов. Александр Владимирович Галкин — рабочий, член партии с 1904 года — был одним из таких самородков. В старенькой гимнастерке цвета лежалого сена, в стоптанной обуви, он вспоминается мне неприятательным, отрешенным от мелких суетных делишек, суровым к себе и самоотверженным, фанатически преданным идее.

Таким мне помнятся и Сольц, мягкий, чуткий, справедливейший человек, неумолимый, если дело касалось чистоты коммунистической морали и высоких норм поведения, и Воронский — тонкий ценитель литературы, острый публицист и критик, и вдохновенный и честный

Пятницкий, не щадивший себя ни в каком бою ради победы партии.

Биография А. В. Галкина проста и очень схожа с историей жизни других коммунистов, пришедших в партию в начале века. Жизнь его — долгий перечень тюрем и ссылок, подпольных кружков и партийных заданий, трудный и увлекательный путь подпольщика-большевика.

Пролетарий, окончивший два класса церковно-приходской школы, без систематического дальнейшего образования, самоучка, Галкин удивлял каждого его знавшего многообразием интересов и разносторонностью знаний.

Александр Владимирович превосходно постиг живопись, сам занимался ваянием, глубоко изучил русскую и мировую классическую литературу, любил музыку, особенно оперную, предпочитая гениальные творения Мусоргского — «Хованщину» и «Бориса Годунова». Он с большим чувством играл на скрипке и флейте и, по мнению знатоков, мог бы стать выдающимся музыкантом-профессионалом.

Большой интерес к истории России привел его к старинным летописям, и он с увлечением изучал документы на древнеславянском языке. Точно так же овладел он учением основоположников марксизма и не раз в те далекие годы со спокойствием и терпением учителя объяснял мне сущность прибавочной стоимости.

Галкин был выдающимся политическим деятелем. В годы жизни В. И. Ленина он некоторое время был председателем Малого Совнар-

кома и выполнял особо ответственные поручения партии. Позднее личная неприязнь Сталина к Галкину привела к тому, что его постепенно отстранили от больших дел.

Особой страстью Галкина были история и юриспруденция. Не случайно несколько лет он возглавлял Верховный суд Советского Союза. Александр Владимирович не раз говорил мне, что счастье народа в строжайшем осуществлении социалистической законности. Этот внешне несколько флегматичный, строгий человек бурно гневался, когда находил малейшее нарушение именно в области права.

Когда в 1929 году я впервые увидела Галкина, он не произвел на меня значительного впечатления. Высокого роста, рыхловато-полный, нескладный, некрасивый, с умными, зоркими, небольшими глазами, испытующе глядящими из-под мешковатых, нависших век, с выпуклым лбом и прямыми откинутыми назад прядями волос, он напоминал провинциального учителя или военного фельдшера. Это впечатление быстро рассеивалось, когда он начинал говорить низким басом на превосходном русском языке, изобилующем поговорками и чисто народными речевыми оборотами. Характеристики людей, высказанные им, бывали всегда метки и подчас беспощадны, как и придирчивая оценка своих собственных поступков.

Все примечательный, бывалый и своеобразный, он становился интереснейшим собеседником. Проницательным критиком, когда судил о литературе, театре, живописи или музыкальных

новинках. Третьяковская галерея была ему так же необходима, как лес и поля, которые он любил и видел по-своему. В этом человеке уживались мечтатель, боец и многогранный художник. Галкин мог подолгу говорить о природе, особенно северной, как истый поэт. Годы ссылки казались ему не худшими из-за долгих прогулок по тайге, рыбной ловле, чтения и размышлений. Тюрма дала ему возможность многое узнать и изучить.

В тридцатых годах, скрывая это ото всех, Галкин взялся за перо и принялся за роман о Руси в эпоху Димитрия Самозванца. Он проводил дни в архивах, рылся в книгохранилищах. Я часто уезжала из Москвы, и встречи наши с Александром Владимировичем были тогда кратки и редки.

Но в 1934 году он снова зачастил к нам, и меня тяжело поразила происшедшая в нем перемена. Сперва он показался мне брюзжащим и больным. Галкин постарел, начал тучнеть. Он не расставался и в комнате с меховой шапкой, прикрывавшей его большую голову, ссылаясь на простуду, обычное спокойствие и невозмутимость покинули его.

— Социалистическая законность, — сказал он мне как-то, — основа государственного, а значит, и партийного в нашей стране благополучия. Так было при Ленине и затем после его смерти. Но вот теперь прокуратура в руках карьериста, бывшего завязаного меньшевика Вышинского. Этот человек без сердца и совести может оказаться роковым для советской юсти-

ции. Он способен на любое подлое дело ради своей выгоды. В партии он чужак, она ему не дорога. Я высказал ему все это прямо в глаза. Вышинский, естественно, меня ненавидит. Есть у меня большая докладная, где я изложил свои мысли и опасения. Надо бы послать наверх, да, беда, генсек ко мне издавна не расположен.

Годы борьбы за революцию выковали из Галкина отважного крепкого бойца, но тогда я этого не понимала и с удивлением и печалью смотрела на него. Он снял вдруг свою высокую меховую шапку с простеганной несвежей подкладкой и механически мял ее большими руками с тонкими красивыми пальцами.

— Может быть, в вас говорит мнительность и раздражение, может, вы Фома неверующий? — спросила я Галкина.

Он махнул устало сильной рукой и сказал мрачно:

— Ну да что вы в этом всем понимаете! Поди, и римского права отродясь не читывали. Это была истина. На том разговор наш прервался.

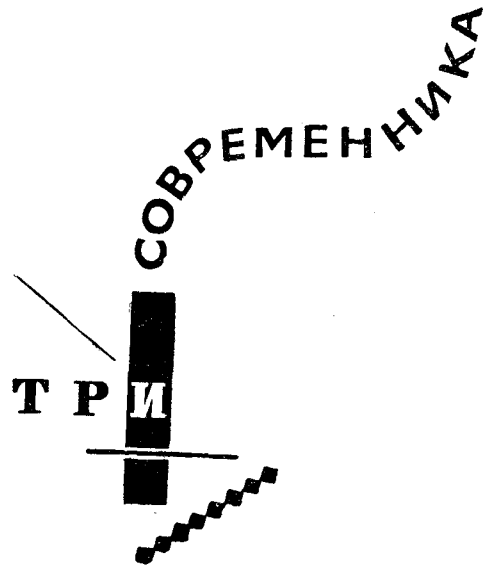
Меня куда больше интересовали тогда не дела в юстиции, а книга Галкина «Смута», которую он сдал в издательство. Я была убеждена, что этот высокий, сутулый человек, всю свою жизнь посвятивший служению партии, страстно преданный ленинизму, был настоящим талантливым художником, и к тому же в разных областях искусства.

Скульптурные работы Галкина, нарисованные им акварели, игра на скрипке подтвержда-

ли, сколь артистически богата была его натура. Он мог посвятить себя музыке, живописи и особенно ваянию и многого достичь в творчестве. В моей комнате висит сейчас превосходная, по мнению самых придирчивых знатоков, голова мужчины, олицетворяющая мысль и страдание, вылепленная из глины Александром Владимировичем в 1910 году в царской тюрьме.

Книгу Галкина «Смута» я прочла совсем недавно. Она вышла из печати незадолго до его ареста, в 1936 году. Это талантливое, безукоризненное по языку, острое, умное произведение.

Осенью 1936 года Александра Владимировича Галкина арестовали и вскоре расстреляли. Сейчас он полностью посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.



В жизни каждого человека есть незабываемые даты. Они опрокидывают время, возвращая к минувшим событиям, неизменно значительным и дорогим.

Восьмого октября 1928 года я впервые увидела Алексея Максимовича. До той поры при упоминании имени Максима Горького в памяти вставал гипсовый бюст человека с откинутыми назад волосами, с глубоко запавшими глазами, в расстегнутой косоворотке. Такой бюст много лет стоял на письменном столе отца и сопровождал мое детство. И вот я увидела живого Горького. Широкоплечий и сутулый, с грубоватыми чертами лица и прекрасной, освещающей лицо улыбкой, он мгновенно уничтожал стеснение и робость. Лев Толстой как-то писал: что люди, если они, улыбаясь, становятся отталкивающими, опасны;

если улыбка не меняет лица, — посредственны; но освещаемые улыбкой, — безусловно, чем-либо хороши.

У Горького была особая, немного озорная, сразу располагающая улыбка, от которой лицо его мгновенно преображалось, становилось почти красивым. . .

Первые слова, услышанные мною из уст Алексея Максимовича, были о смерти Скворцова-Степанова. О ней сообщали газеты. Горький похвалил его как лучшего переводчика Маркса.

— Хороший был человек, не стар — и вдруг умер. — Алексей Максимович как бы отгонял от себя что-то назойливо-неприятное. — А я его за рыжие усы и сухопарость с банщиком как-то сравнил, — продолжал он. — Похож он был, очень похож. Но Иван Иванович за сравнение не обиделся, засмеялся. Умный, образованнейший, прямодушный был человек, полный бодрости и веры в свое дело. Прекрасный пример жизни и работы революционера для молодежи. Вот умирают старые большевики. . . умирают. . . — Он развел при этом недоуменно руками.

За ужином Горький говорил о том, что уходят сверстники Ленина. Внезапно он встал и тихо произнес, обводя всех присутствующих тяжелым взглядом:

— Самое главное для будущего, для мира — единство, сплоченность. Ближе друг к другу, товарищи. Крепче дружба — больше силы! Берегите партию, как берег ее Ленин. —

Голос его дрогнул, и я увидела слезы на припухших ресницах Горького. Он сел и медленно, долго вытирал влажные узкие глаза.

Очевидно, беспокойная мысль о сплоченности старых партийных кадров не оставляла в эту пору Алексея Максимовича.

Через полтора месяца, 22 ноября 1928 года, уже из Сорренто, Горький пишет Семашко: «Къ всем вам, старым товарищам, зачинателям новой истории, у меня разгорелось. . . чувство духовного родства, чувство особенной близости. . . Большие вы люди на земле. И я не преувеличу, сказав, что хорошо жить с вами. . . Но, говоря глаз на глаз, живете как-то далеко друг от друга. . . Отсюда и тревога».

Вместе с Алексеем Максимовичем была в первый вечер знакомства Екатерина Павловна Пешкова — друг, жена писателя.

Меня поразили яркие серые глаза на тонко очерченном продолговатом лице Екатерины Павловны. Цвет кожи, золотистый и нежный, дополнял ее сходство с прекрасными женскими лицами на портретах великого русского художника конца восемнадцатого века Левицкого.

Алексей Максимович заговорил со мной:

— О женщинах французской революции пишете? А книгу Эммы Адлер читали? Не соблазняйтесь приводимыми ею фактами: вранье! Проверьте, ищите первоисточники.

Алексей Максимович порастил меня тем, чем не переставал удивлять все годы, — глубокими и всесторонними знаниями.

— Не забывайте, — сказал он, — в исторической прозе, в описании событий, обстановки, бытовых деталей должны быть величайшая точность и правда. Стоит читателю усомниться, и он перестает верить писателю.

Горький отлично знал историю французской буржуазной революции. Ему были хорошо известны исторические исследования Матьева, Мадлена, Тьера, Мишле. Он прекрасно помнил наиболее важные архивные материалы из этой эпохи и указывал, где они хранятся. Исчерпывающе знал он историю девятнадцатого века в европейских странах. Его советы помогли мне при работе над «Юностью Маркса».

— Используйте материалы, имеющиеся в архиве Парижской национальной библиотеки, — советовал он. — К сожалению, те, о которых я говорю, — автор их немец, — сохранились только в одном рукописном экземпляре. Известен ли вам обычай «вилкома и абшида»? В Пруссии арестованный в тридцатых — сороковых годах девятнадцатого века неизбежно подвергался телесным наказаниям дважды: когда его водворяли в тюрьму — это и называлось «вилком» (добро пожаловать); затем его пороли, выпуская из тюрьмы, — это и был «абшид». Порка обычно производилась в присутствии врача и приглашенных знатных бюргеров. Фашисты сейчас снова воскресили эти унижительные обычаи в своих тюрьмах. Обязательно используйте эти факты в книге.

Говоря о Марксе, Алексей Максимович часто, естественно, вспоминал Ленина. В харак-

терах обоих гениальных творцов учения о пролетарской революции он отмечал оптимизм, бодрость, веру в конечную победу.

Эти же мысли я нашла в его книге о Ленине.

«Для меня исключительно велико в Ленине чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия...»

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста... Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, — Человеку — с большой буквы».

— Нужно, — сказал как-то мне Алексей Максимович, — писать так о Марксе и Ленине, чтоб за мрамором памятников встали во всем величии живыми эти люди.

И с неповторимой теплотой в глазах и голосе Горький добавил:

— Надо ценить, любить Ленина за его всемирного, планетарного значения работу. Этот человек — подлинное чудо истории.

Я не могла надивиться многообразию знаний, пылкости ума Алексея Максимовича. Как-то он спросил меня:

— Видите ли вы цветные сны?

Я ответила положительно.

— А объемные?

Я подтвердила и это.

— А вот я вижу только тени, как в кино. Недавно читал о снах Фрейда и других специалистов. Ничего путного мне ученые не сказали. Надо думать, аппарат сна — он же и радиоприемник в мозгу.

Пристально глядя на собеседника при каждой встрече, Алексей Максимович спрашивал:

— Что читаете?

Однажды в ответ я сказала:

— Джойса.

— Ну и зря теряете время. Книгу Завадовского, наверно, не читали, а надо. Более того: надо съездить в его лабораторию и послушать его лекции. Он с помощью корма из щитовидной железы меняет пигментацию кур, они сидят по его желанию. А опыты Сперанского знаете? Интереснейшие опыты ведутся в Институте экспериментальной медицины. А вы Джойса читаете. Все это — одно пустословие и красоты, чрезвычайно для писателя опасные и соблазнительные. Красивости из своих книг изгоняйте беспощадно. . . Русскому языку, стилю учитесь у Алексея Толстого и Бунина.

В своем письме ко мне из Сорренто в 1931 году Алексей Максимович писал:

«Я бы очень советовал писать проще, не очень часто прибегая к обычным приемам беллетристов, которые полагают, что искусно подобранные, красиво построенные слова — большое дело, и не чувствуют, что весьма часто этот прием — прямой ущерб пластичности, выпуклости изображения.

Писать просто не значит писать сухо. Наш читатель не так опытен, чтобы любоваться формой. Он, прежде всего, ищет педагогического содержания в книге. Не бойтесь деталей, они крайне положительны, хорошо схватываются читателем и усваиваются им».

Однажды долго сидели за столом, и я невольно испытывала напряженное чувство ученика на экзамене: Горький «впивался» в меня вопросом:

— Какого вы поколения интеллигентка: первого, второго или третьего? Книгу Артема Веселого читали? Как ее находите? Сильная вещь! Леонов тоже хорош.

Потом внезапно:

— Вы что, тоже «галопом по европам» думаете промчаться? У нас, знаете, писатели решили, что очерк, мол, все терпит. А ведь это ответственнейшее, нужнейшее дело. Очерк должен быть зеркалом наших достижений.

Критиковать, злословить многие мастаки, а вот показывать наши достижения, радоваться им — мало еще у нас любителей. Все потому, что мало культуры, работоспособности и идейной глубины.

Горький страстно любил жизнь во всех ее проявлениях. Он ненавидел смерть и мучительно искал примирения с ее роковой неизбежностью. Однажды за обедом, на котором присутствовал и профессор Сперанский, он стал говорить о будущем медицины,

казавшемся ему полным чудес. Внезапно он резко повернулся к Сперанскому с вопросом (Алексей Максимович подчас не задавал, а «нападал» на собеседника с прямым вопросом).

— Будет ли человек жить вечно? — спросил он.

Профессор Сперанский ответил отрицательно.

— Ну тогда к черту вашу медицину! — отчеканил Алексей Максимович.

Горький страшился равнодушия китайцев к смерти.

— Что это, буддистское непротивление? Следствие нищеты и тягот, когда жизнь становится непосильным бременем? Философия? — спрашивал он и отвечал сам: — Все это, взятое вместе.

Когда я рассказала ему, что привезла из Пекина в 1925 году детские игрушки-гробики, в которых лежали куклы-покойники, и похоронные игрушечные процессии, Горький был очень заинтересован этой особенностью быта.

— Более того, — продолжала я на его расспросы, — молодоженам нередко дарят на свадьбе сандаловые желтые гробы.

— Трудно, трудно понять этих людей, — поразмыслив, сказал Горький.

Помню, стояли мы на террасе дома, занимаемого Горьким в Сорренто. Где-то во тьме, под обрывом, сердито огрызались морские волны. Запах цветущих деревьев казался чрезмерным и душил. Алексей Максимович увле-

ченно говорил о раскопках Геркуланума, о величии древнего Рима, об истории Неаполя и Сицилии.

Вышел Максим, сын Горького, и начал, подтрунивая, рассказывать, как вез меня из Рима на гоночном автомобиле с неопишуемой скоростью, пугая этим на крутых поворотах. О том, что я вскрикивала и боялась.

— Умирать не хочется? — спросил низким голосом Горький. — Понимаю, мне тоже не хочется. Жить бы и жить. Каждый новый день несет чудо. А будущее такое, что никакая фантазия не предвосхитит. Жаль, словечка такого заговорного не знаю, чтоб не умирать. Толстой говорил: «Умру, когда сам того захочу, не раньше», а я никогда умирать не согласен, тогда как?

Не видя, я угадывала его улыбку с хитринкой, пробегающей в глазах и под колючими усами.

— Если б я не был атеистом, то верно был бы язычником. Они умели любить и ценить жизнь, — закончил серьезно и тихо Алексей Максимович.

Мы перешли в столовую, очень белую от голых стен без всяких украшений. Горький достал несколько тонко исполненных миниатюр работы сына и показал мне с нескрываемой гордостью. «Сюжеты мрачноватые», — добавил он, поясняя содержание рисунка, воспроизводившего нравы Западной Европы.

На прощание Алексей Максимович настойчиво советовал мне побывать в Помпее.

С шальной скоростью Максим Алексеевич довез меня до Неаполя. Мы расстались на набережной, откуда открывался вид на красивую бухту и Средиземное море. Богатые отели прятались за платанами и цветущими каштанами. Путь к Помпее лежал через город бедняков. Улицы, узенькие и кривые, казались непроходимыми от высыхающего белья, развешанного на веревках, перекинутых из окна в окно, помоев, выливаемых на мостовые прямо из раскрытых дверей и окон. Запах чеснока и вяленой рыбы вызывал тошноту. Женщины, дети, измученные лишениями, бранились и шумели; уличные продавцы громко выкрикивали, навязывали свой убогий товар.

Дымящий паровозик дотащил несколько бурых вагонов до Помпей. Его пронзительный свист святотатственно нарушал тишину мертвого города. Несколько навязчивых гидов окружили туристов. Я пошла одна по пустым улицам города. Шаги мои гулко отдавались на камнях. В первом веке нашей эры погибла Помпея в течение нескольких часов; пепел, вырвавшийся из кратера казавшегося потухшим Везувия, морские титанические волны уничтожили все живое. Почти два тысячелетия пронеслись над курганом, схоронившим древний город.

Пробоины на мостовой рассказывали, как долго существовал он до своей страшной гибели. Колеса телег, тысячи человеческих ног оставили на камнях следы.

Долго и растерянно смотрела, разглядывала отпечаток чудесной женской груди. В домах за пиршественными столами все еще сидели окаменелые трупы, и в лавке над высохшими кувшинами, видимо из-под оливкового масла и вина, поник мумизированный лавой продавец.

Город-морг предстал предо мной. И только равнодушные камни, омытые весенним дождем, подобно могильным плитам, поросшие травой, рассказывали о могуществе смерти и жизни.

В Москву из Италии я вернулась, ободренная словами Горького. Он прочитал две мои книги, ответил на письма и даже пригласил в Сорренто. Хотелось не забывать смысл сказанного им:

— Работайте, искусство ревниво и деспотично. Чтобы учить других, вести их, надо неустанно расти самому, снова и снова изучать все наиболее передовое. Знать жизнь, быть в авангарде общественных дел и идей.

В одном из писем Горький писал мне: «Гёте говорил, что в любви надо каждый день завоевывать все сначала, но это более приложимо к литературному труду».

Однако внезапно отношение Алексея Максимовича ко мне резко изменилось. И тут я узнала одну из черт его характера.

Горький в эту пору вернулся в Москву на постоянное жительство, и не знаю, как ему попался один из моих рассказов. Качество этого рассказа было много ниже тех двух

книг, которыми заинтересовался писатель. Я этого не знала, но почувствовала внезапно полное отсутствие ко мне интереса со стороны Горького. А совсем недавно он был ко мне очень чутким и внимательным. Тщетно пыталась я узнать, в чем причина. Меня не приглашали, я была явно отброшена. Это длилось около полугода. Вдруг раздался телефонный звонок. Алексей Максимович снова звал меня. В то время в журнале печатались первые главы моего романа «Юность Маркса».

Волнуясь и робея, я вошла в его маленький кабинет в нескладном, претенциозном доме, построенном известным архитектором Шехтелем для купеческого сына — миллионера Рябушинского в стиле пошловатого декаданса, с множеством лепных лилий и профилей изуроченных, худых женщин. В то время мир богатых бредил английскими прерафаэлитами.

Алексей Максимович вышел из-за письменного стола и пошел мне навстречу. Он казался мне еще более высоким и сутулым. Лицо без улыбки было суровым, неровные брови и жесткие усы от поджатый нижней губы как бы оцетинились. И только глаза, светлые, прищуренные, добродушно и вместе лукаво поблескивали.

— Значит, решились этукую глыбину поднять. Молодец. Маркс хорош, и спички в книге горят кстати. А я было подумал, прочитав (тут он назвал мой неудачный рассказ), что, кажется, ошибся в вас...

Чувство долго давившей тяжести свалилось, и я облегченно вздохнула. Так вот в чем была причина постигшей меня опалы. Горький не прощал творческого снижения и не тратил времени на то, в чем «кажется, ошибся».

Алексей Максимович подвел меня к столу, на котором лежала большая карта СССР, и широко улыбаясь, торжествуя, с обычным знанием того, о чем говорил, начал показывать стройки пятилетки.

— Вот они, чудеса. А, каково? — Он гладил карту большой костлявой рукой. — Кончите Маркса, ныряйте в живое, без этого задохнетесь. Учитесь у людей, у жизни. Смотрите, думайте. В Болшевской коммуне бывали? Обязательно отправляйтесь. Труд — это чародей.

Пришла Тимоша (Надежда Алексеевна, жена сына Горького) и позвала нас к обеду.

Как всегда, Алексей Максимович расхваливал рыбу, говорил, что это любимое его блюдо. За столом было многолюдно: сын Горького и его жена, врачи, какой-то многообещающий изобретатель, скромная фельдшерка — давнишний друг семьи, несколько литераторов самым непринужденным образом вели себя за столом.

Алексей Максимович — хлебосольный хозяин — усиленно потчевал присутствующих и сам с удовольствием осушал бокалы.

— Встретился я со стариками, прожившими свыше ста лет, — начал Алексей Максимович — Спросил одного: чем он продлил жизнь?

Тот ответил, что «никогда не пил спиртного, кроме кваса, ничего не пивал». Другой старичок объяснил свое долголетие тем, что дня без водки смолоду не проводил.

Горький, рассказывая это, весело, молодо смеялся:

— Вот и поймите, в чем же секрет долголетия, а раз так, то и выпить не беда!

Во время этого рассказа дверь в столовую открылась, и на пороге появился небольшого роста пожилой человек, растерянно улыбающийся всем, кто поворачивал к нему голову. Алексей Максимович, недоуменно и вопросительно поглядел на сына, на секретаря, и усы его недовольно зашевелились. Он не знал совершенно вошедшего. Надежда Алексеевна, сидевшая в центре стола, перегнулась и тихонько шепнула: «Это К. Вы его не знаете, у него умерла жена...»

И в ту же секунду Горький преобразился, всем корпусом повернулся к непрошеному гостю, вытянул обе руки и басом заговорил:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой! Очень жаль, сочувствую. Садитесь, не горюйте.

Когда закончился обед и из зала с лепными голубыми лилиями, похожими на девушек, и девушками на стенах, похожими на вянущие лилии, мы перешли в большую, очень просто обставленную рабочую комнату писателя, появились новые гости. Их с искренним радушием встречал Горький. Страстный жизнелюбец, он не уставал выискивать и вглядываться в самое интересное на земле — человека.

Алексей Максимович тяготился всякой посредственностью, но все из ряда вон выходящее, подобно Толстому, Роллану, Шоу, приковывало и волновало ненасытное его воображение.

Один из вошедших был старик, о котором Горький сказал восхищенно, представляя его окружающим:

— Это самородок, творец чудеснейших скрипок, Страдивариус, Амати наших дней.

Он спросил мастера музыкальных инструментов, сколько лет следует высушивать дерево.

— Лет двадцать пять — тридцать, — ответил тот уверенно.

— Вот-вот, итальянские великие мастера высушивали не менее тридцати, — подтвердил Горький.

В тот же день Алексей Максимович слушал, как шестилетний мальчик читал наизусть Одиссею. Мать чудо-ребенка сидела важно около писателя. И когда ребенок закончил без запинки, Горький спросил, есть ли у нее еще дети. Женщина ответила небрежно:

— Как же, у меня есть годовалая девочка. Она тоже читает наизусть стихи.

Восторгу Алексея Максимовича не было предела.

— Нет, каково, — говорил он, потирая руки.

Он мог подолгу, не отрывая пронизательных глаз, слушать исповедь расстриги-монаха и терпеливо искать разгадки души преступника.

Но искорку подлинной гордости, даже счастья я подметила в его взгляде, когда он рассказывал о работнице, в шестьдесят с лишним лет обучившейся грамоте и приславшей ему воспоминания.

Горький неумоимо отыскивал своих подлинных друзей. В его доме можно было встретить фельдшерницу Черткову Олимпиаду, когда-то в Нижнем Новгороде оказавшую писателю много услуг, и других, кто хоть раз пришел ему на помощь в годы бедствий и унижений.

В большой загородной усадьбе, где жил по долгу Горький и его семья, не было никакого «своего» лица. Комнаты казались необжитыми; мебель была случайно подобрана, и только стены да потолок точно отражали былые вкусы прежних хозяев. Всегда у Горького толпилось много людей, со стола не исчезали самовар и закуски.

Горький, окруженный книгами, журналами, картами, часто просиживал целые дни в своей рабочей комнате, встречаясь только в столовой с многочисленными посетителями его дома и друзьями молодых членов семьи.

Иногда он казался мне очень утомленным и печальным. Однажды я застала его за чтением итальянского поэта девятнадцатого века Леопарди. Горький сказал:

— Нельзя правильно понять догарибальдийскую Италию, не прочитав этого мрачного

и талантливое поэта. Глубоко и умно чувствовал свое время, хорошо писал.

Алексей Максимович вслух прочел несколько стихов, и глаза его увлажнились. Он был крайне впечатлителен и легко плакал.

Павел Петрович Малиновский, старый большевик, видный архитектор и давнишний друг Алексея Максимовича, рассказывал мне, как однажды юн зашел к Пешковым в Нижнем Новгороде и был поражен: Алексей Максимович горько плакал над книгой.

— Что с вами, над чем вы плачете, почему? — допытывался Малиновский.

— Читаю свой рассказ «Девочка» и, знаете, невольно разрыдался, — ответил Горький.

В маленьком, как все комнаты, где жил и работал Горький, очень скромно обставленном кабинете, в бывшем доме купца Рябушинского, я увидела прекрасно исполненные индийские миниатюры, почему-то прибитые на внутренней стороне высокой входной двери.

— Хорошо, — сказал Горький. — Каково искусство! А ведь все это безымянные художники, народ. — Он достал из книжного шкафа маленькую статуэтку из слоновой кости и с восхищением разглядывал ее, не переставая удивляться мастерству, с каким она была сделана.

Потом откинулся на спинку кресла и стал спрашивать о моем детстве и юности в пору гражданской войны. Когда я вкратце рассказала ему об этом, он, подумав, сказал:

— Пока не пишите автобиографических повестей. Не всем дано, как Толстому, пачать

гениально с описания детства, отрочества и юности. В молодости легко загубить эту большую тему. Писатели обычно начинают с книг о самих себе. Получается часто свежо, подчас увлекательно, но редко умно. Книги такие недолговечны. Писатель с дарованием пишет лучшие произведения в пору творческой зрелости. Тогда и следует браться за автобиографические вещи. Лет эдак не раньше сорока.

Разговор зашел и о женщинах русской революции. Горький восторгался их героизмом и самоотверженностью.

— Пишите о женщинах, не следует прятаться, как Жорж Санд, за мужскими псевдонимами.

Но всегда пишите только о том, что знаете, что выносили, как мать ребенка. Тогда найдутся и слова, и образы, и нужные мысли. Не отрывайтесь от жизни людей, наблюдайте, читайте, следите за всем новым, чем обогащается наука. Академика Павлова читали? А Джинса «Вселенная вокруг нас»? Обязательно прочтите.

Говоря о том, как надо оценивать художественные произведения, Горький советовал учитывать высшую точку, на которую сумел подняться писатель, так как именно она может послужить ему трамплином для следующей книги.

Алексей Максимович охотно лечился и не боялся проверить на себе новые, малоиспытанные лекарства. Раз узнав, что я прихварываю, он сказал:

— Я вообще верю в медицину. Лет сорок назад меня объявили безнадежно больным, так оно, вероятно, и было, но, вот видите, я жив. Врачи помогли. Медицинская наука хитрая, но могущественная. Немножко бы протянуть, а там болезни на земле выведутся и можно будет жить эдак лет сто пятьдесят. А то рано мы умираем, слишком рано!

Толстой находил выход в разрешении многих безответных вопросов в вере в бога. Атеист Горький верил в конечную победу учения Маркса и Ленина, в могущество знаний и науки, в неиссякаемые силы народа.

Мать моя была хорошей музыкантшей, и от нее унаследовала я сильный голос. С детства все, кто слышал мое пение, пророчили мне славу певицы. Я тщательно училась петь, и когда Николай Семенович Голованов, проходивший со мной партию Ярославны, предложил мне поступить солисткой в оперный театр, я растерялась, не знала, что предпринять.

Все мои интересы, воля устремлены были к литературе. Я напечатала уже несколько книг. Благодаря им завязалось мое знакомство с Горьким. И я решила предоставить ему решить мои сомнения. Он прослушал меня и похвалил мое пение, но сказал решительно:

— Творчество писателя существеннее, нежели певца. На сцене в основном артист только передает чужой замысел. Ни в коем случае не уходите от литературы, но помните, искусство не терпит половинчатости. Оно забирает

человека целиком. Более того, советую, чтобы никто не знал из писательской братии, что вы поете, а то начнут говорить — «в литературе — певец, в пении — писатель».

Я строго выполнила этот совет.

Вспоминаю, как в 1935 году собралось у Алексея Максимовича несколько писателей. Говорили о новых книгах. Горький вдруг повернулся ко мне и сказал:

— Юность Маркса кончили... а теперь надо на время отойти от этой темы. Знаете, куда надо бы вам заглянуть? В тюрьму! Это зеркало кривое, но в него смотреть надо с особым вниманием.

Согласившись с Горьким, я решила обратиться в Наркомат внутренних дел за пропуском, чтобы заняться изучением быта заключенных. Могла ли я тогда думать, что очень скоро сама окажусь за решеткой? Судьба бросила меня на долгие двадцать лет в тюрьмы и лагеря.

В последний раз я видела Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Я провела там почти целый день. Алексей Максимович казался озабоченным и грустным. Меня поразили землисто-пепельный оттенок его лица; глаза казались светлее.

Он прихварывал, впервые жаловался на старость, собирался по настоянию врачей в Крым. В доме было тихо и как-то необычно малоллюдно. Летом минувшего года умер Максим Алексеевич. Я знала, что смерть сына тя-

жело придавила Горького, и невольно сопоставляла это с биографиями Гёте, потерявшего взрослого, тоже единственного сына, и Анатоля Франса, похоронившего дочь.

Алексей Максимович за весь день не обмолвился ни одним словом о постигшем его горе, о страшной потере. Он как-то сжался и, казалось, гнал мысли о смерти, всегда притягивавшие его.

Мы долго ходили по сырому парку, такому же грустному, как дом и его обитатели в этот день.

Позднее приехали работники издательств, и за длинным столом, за чаем, началась беседа. Оживился и Алексей Максимович. Редакторам из издательства «Молодая гвардия» он говорил:

— Издавайте снова серию путешествий Стенли, Ливингстона и других, да не забудьте «Путешествия Коцебу» — интереснейшая во всех отношениях книга.

Повернувшись тут же к Михаилу Кольцову, которого всегда очень хвалил, он продолжал:

— В серии «Истории молодого человека» кроме Альфреда Мюссе хорош и Шатобриан.

Кому-то из руководителей издательства Академии он предложил издать скорее Лукреция и Катулла в новых переводах.

— Литературу японцев мы знаем плохо. Это упущение, — продолжал Горький. — Есть, знаете ли, чудесная книга японского средневековья, записки этакой японской мадам де Севиньи, придворной дамы. Писала она по но-

чам, на листках бумаги своей подушки. Умнее, пожалуй, была Севиный, это скорее японский герцог Сен-Симон в кимоно. Издавайте, издавайте. Наш читатель развивается не по дням, а по часам, давайте ему все лучшие сокровища, созданные литературой всех стран, всех веков.

В серой, как опустившиеся сумерки, маленькой гостиной Алексей Максимович долго молча ходил из угла в угол. На всех столиках стояли вазы с багрово-красными розами, такими же, как на клумбах перед домом в Сорренто. Задумчивый, печальный, Алексей Максимович удивительно походил на портрет Павла Корина, который я часто и подолгу разглядывала в одной из городских комнат писателя.

Русский рабочий, сурово вглядывавшийся в даль недоверчивыми, пронизывающими жизнь глазами. Плоть от плоти своего класса.

Прекрасные руки Горького, казалось, и не отвыкали от тяжелого молота. Плечи ссутулились, широкие, худые плечи грузчика. Сколько тяжестей пронес он через жизнь. Тяжести физические и духовные. Он нес на себе заботы, дерзания, горести и радости эпохи, своего народа, своей страны.

Этими плечами он пробился к знаниям, к творчеству. И они вдруг показались мне сложенными крыльями, столько раз поднимавшими его ввысь. Не случайно художник Корин рисовал его на фоне неба.

Горький, говоря о чем-то, улыбнулся, и глаза, усталые от чтения, работы и дум, отра-

зили его многознающую и противоречивую душу.

Прощаясь с Горьким, я испытывала необъяснимое чувство беспокойства. Оттого ли, что он был в этот день очень грустен и, очевидно, тосковал о сыне?

В город я ехала с Екатериной Павловной Пешковой. Был угрюмый дождливый день. Екатерина Павловна везла горшки с примулой на могилу своего и Алексея Максимовича единственного сына. Она говорила, глядя на дорогу потемневшими, скорбными глазами, о том, что просила скульптора, делавшего памятник, снять мраморную плиту с изголовья могилы.

— Мне кажется, Максиму тяжело, ведь камень давит на его голову и сердце. . .

Мы отвезли на могилу Максима Алексеевича Пешкова цветы. Екатерина Павловна много, тихо говорила об умершем и плакала.

Горький уехал в Крым. Один из моих знакомых, который был с Горьким в последнюю весну его жизни в Крыму, рассказывал о том, что однажды ночью увидел Алексея Максимовича, вылезшего из окна в сад. Двери его комнаты запирали на ключ, оберегая писателя от простуды. Но Горький перехитрил близких и врачей. В полночь, тайком он вышел в сад, смотрел на небо и обнимал деревья, прижимаясь к их жестким стволам. Он плакал.

Что это было? Прощание? Предчувствие смерти?

Было не в меру жаркое лето 1936 года. Казалось, никогда не появятся тучи, не освежит раскаленные мостовые Москвы желанный дождь. Алексей Максимович заболел. Он болел часто, и никто не предполагал, что в этот раз болезнь приведет к смерти.

Стоя в почетном карауле и вглядываясь в удивительно спокойное, даже слегка улыбающееся в усы лицо, я все еще не могла поверить, что Горького нет.

Вспоминалась его жадная любовь к жизни, к людям.

Ночью в крематории мы ждали гроб писателя из Дома союзов. Мысли наши, естественно, возвращались к Алексею Максимовичу. Каждому было жаль неиспользованных, утраченных навсегда часов общения, жаль невысказанной в должной степени благодарности за то, что он дал каждому, кого знал.

Проницательный, мудрый, щедрый, он отдавал нам большими пригоршнями свое время и мысли. Сколько часов он потратил на чтение наших, часто несовершенных произведений и делал это так тщательно, что исправлял даже грамматические ошибки и знаки препинания. И это в пору работы над «Климом Самгиным».

Как всякий большой писатель, Алексей Максимович был всегда не уверен в себе, нуждался в одобрении, похвале, внимании к своему творчеству.

Артист, выходя на подмостки театра, видит знаки одобрения зрителя, ощущает его признательность за вдохновенную игру, писатель же,

творящий в тиши кабинета, одинок. Он часто не знает, как приняты его творения. Немало замечательных прозаиков и поэтов умерли, так и не порадовавшись тому, что полюбились и стали дороги народу.

Горький был знаменит и почитаем, но многие из нас, его учеников, в тридцатых годах, нередко эгоистически поглощенные собой, не воздали ему сполна, как великому писателю. Перелистывая журналы и газеты тридцатых годов, нельзя не поразиться тому, как мало профессиональные критики и литераторы писали о «Климе Самгине», этой поистине эпохальной, талантливейшей книге. Искорки радости зажглись в глазах Горького, когда однажды Авербах принялся подробно анализировать одну из только что опубликованных глав чудесного романа. Значительно позже, в тюрьме, я три раза подряд прочла «Самгина» и с горечью вспомнила, что никогда в дни жизни Горького не сказала ему ничего о его книгах, не поблагодарила. Было ли это от застенчивости или от уверенности, что великий писатель и так знает себе цену и устал от поощрений? Однако только творчески немогущий человек самодоволен и уверен в себе. Настоящий художник всегда томим сомнениями, и похвала для него, как духовный витамин, без которого засыхает сердце.

И в малой толике я не взяла от замечательного душеведа, каким был Горький, того, что он готов был щедро отдать своим меньшим братьям по цеху.

Потеряв, мы осознали, каким необычным, удивительным человеком он был. Всегда чуждый зависти и мелочного славолубия, радующийся каждому таланту, кропотливо и заботливо возвращающий все то, что казалось ему обещающим и полезным людям. Сколько времени, сколько терпения тратил он на каждого из нас!

Гроб Алексея Максимовича медленно внесли в зал и установили на крышку люка.

Тихо, горестно играл орган. Все молчали. Было полутемно в колумбарии. Свет скупо освещал фигуры близких и друзей.

Из полутьмы, четко вырисовываясь, в траурном платье появилась Екатерина Павловна Пешкова — неизменный друг Горького. Тяжело опиралась она на руку невестки. За ней шла Мария Федоровна Андреева с сыном, кинорежиссером Желябужским. И поодаль, совсем одна, остановилась Мария Игнатьевна Будберг. Все эти три женщины чем-то неуволимо походили одна на другую: статные, красивые, гордые, одухотворенные.

Медленно опустился гроб в пасть люка.

Вскоре все было кончено. Выйдя из крематория, я повернулась к серому, суровому зданию.

Из трубы крематорной печи поднимался легкий дымок. По обе стороны дорожек были могилы, такие маленькие, что, казалось, только человеческое сердце могло уместиться под надгробными плитами. В земле лежали урны.

В ушах вдруг отчетливо прозвучал голос Горького:

«А я вот никогда умирать не согласен!»

Но смерть не лишила его бессмертия.

На следующее утро замуровали урну с прахом Горького в Кремлевскую стену на Красной площади.

Маленькая табличка с именем и датами рождения и смерти писателя исчезла за грудой венков.

Вспомнилось, как в 1924 году тут же, на Красной площади, у деревянного тогда Мавзолея Ленина, увидела я венки, на котором морозный январский ветер тихо раскачивал траурную ленту. Черными буквами на ней было выведено:

«Прощай, друг. —
Горький».

В декабре 1929 года угрюмым, туманным утром высокий буро-серый дом на Гровенор-сквер внезапно ожил. Много лет стоял он, окутанный траурной каймой угольной пыли, необитаемый, безмолвный, прежде нежели был снят на год прибывшим из Москвы советским посольством.

Маленький круглый сад, заросший жимолостью, с железной оградой, запертой на замок, предшествующие годы редко видел на своих желтых дорожках коляску ребенка, пушистую собачку или дряхлого старика, опирающегося на сложенный дождевой зонт. Наглухо закрытые ставни красноречиво подтверждали безлюдие домов, медленно разрушающихся от сырости, туманов и одиночества: в двадцатые — тридцатые годы владельцы охотно сдавали большие холодные дома внаем. Они тяготились

этим наследством и уезжали в колонии и Европу.

Гровенор-сквер, такой веселый и нарядный в царствование тучной королевы Виктории, пережил свой расцвет, уступил первенство светлым кварталам вокруг Кенсингтона, где выстроили свои особняки современные богачи и знать нового века. В наши дни знаменитый Гровенор-сквер — чопорная, скучная улица в центре кипучего Лондона.

В начале 1930 года в парадных залах дома на Гровенор-сквер на одном из шумных приемов в посольстве СССР я впервые увидела Бернарда Шоу. Он вошел, уже старый по возрасту, но с неожиданно легкой походкой и широким жестом беспокойных больших рук, по-детски быстрый в движениях, весь устремленный вперед. Беловолосый, с золотистой седinou светлого в прошлом блондина, с очень свежим розовым лицом, с глубоко упрятыми под мохнатые брови серо-голубыми, смеющимися, мудрыми и очень привлекательными глазами, с большим грубым носом и широким ртом, прядущимся в усах и бороде, он, как и Лев Толстой, казался выходцем из народа, из крестьянства. Шоу был некрасив и вместе с тем, резко выделяясь из толпы, приковывал к себе внимание и покорял силой, исходящей от всего в целом человека. У него был выпуклый открытый лоб под непокорными волосами, мягкими, тонкими, как у ребенка.

Как и о Толстом, кто-то сказал, что чертами лица Шоу похож на большого, нервного и умного пса. В тот же вечер на приеме в посольстве был еще один крупнейший представитель английской литературы — Герберт Уэллс.

Становилась понятной их давнишняя, часто вспыхивавшая антипатия друг к другу — так разительно непохожи были эти два больших писателя.

Англичанин Уэллс, с свекольно-красными щеками, рыжеватыми, жирно примазанными волосами и торчащими усиками, коренастый, спокойный, самодовольный, являлся полнейшей противоположностью легко возбуждающемуся, подвижному, всегда как будто изнутри освещенному ирландцу Шоу.

Особенно разнились их руки: немного короткопалые, красные, полные у Уэллса и бледные, острые, с длинными, большей частью неспокойно двигающимися костлявыми пальцами у Шоу. Один земной, чванный; другой взъерошенный, худой, как будто взлетающий вслед слову, мысли, весь — олицетворение пытливого, насмешливого разума.

Это было тем более неожиданно, что именно Герберт Уэллс в фантазии бродил по планетам, а Шоу вглядывался в человеческое на Земле.

В эту первую встречу Шоу с огромной настойчивостью спрашивал об СССР, главным образом требуя цифр.

— Люблю статистику, — повторял он многократно.

Его интересовало народное образование, положение писателей, художников, советский театр. К концу вечера я спросила, есть ли у него дети.

— Дети? — удивился Шоу. — Конечно, их у меня нет. Иметь идиотов или посредственные натуры? Видите ли, — продолжал он, — когда природа дошла до предела, дальше она может лишь начать сначала... — Он по-детски весело рассмеялся и стал удивительно симпатичен.

Итак, создав его, природа дошла до предела. Этот парадокс оказался бы нескромным в устах каждого, но только не Бернарда Шоу: он так считал, так и говорил. Не всякий бы на это решился.

В следующую встречу — в столичной квартире Бернарда Шоу — я познакомилась с его женой, Шарлоттой Шоу — самым близким и верным другом великого английского писателя.

Квартира Шоу находилась недалеко от Вестминстерского аббатства — суровой усыпальницы королей и героев. Рядом с этим пантеоном истории громоздился парламент, почерневший от угольного чада миллионов каминов, отстроенный более ста лет назад после пожара таким же, каким был раньше, похожий на готическую молельню пуритан кромвелевской поры. Парламент, добытый в жестоких боях с королями и аристократами, залитый кровью вольнолюбцев, погибших за свободу, когда-то опасный и жестокий соперник деспотов, ставший теперь только цирковой ареной, на кото-

рой разыгрывается давно надоевшее представление.

Низенькая, полная миссис Шоу встречает нас на пороге гостиной, где на открытом рояле — шопеновские прелюды, бетховенские сонаты и партитуры Генделя, композитора, чей прах бережет Англия в Вестминстерском аббатстве. Приятное лицо у жены Бернарда Шоу. Ей, как и ему, уже за семьдесят, она на два года старше мужа. Но старость не страшна, когда видишь этих полных жизни, мысли и творчества людей. В седых пышных волосах миссис Шоу еще много русских прядей, глаза ее умны и добры, лицо свежо, а красивого тембра голос звучен. Она вышла замуж за Бернарда Шоу, когда обоим было уже за сорок, и брак их оставался счастливым до конца. У нее высшее образование, но, выйдя замуж, она посвятила все время мужу, стала его помощником в любом начинании.

— Не правда ли, трудно быть женой гения? — спрашивает кто-то миссис Шоу.

— Не могу сравнить, так как никогда не была женой не гения, — то ли шутя, то ли серьезно отвечает живо Шарлотта Шоу, улыбаясь своей широкой, как у мужа, заразительной улыбкой.

В доме Шоу нет и тени напряженности или напыщенности. В книжных шкафах книги писателей разных стран. Шоу не знает иностранных языков.

— Ирландский и английский я знаю неплохо, — поясняет он.

Миссис Шоу говорит на многих языках и следит за всеми новинками, заслуживающими внимания.

В одном из книжных шкафов — Шекспир. — Европа раньше нас оценила его необъятный гений оттого, что он был переведен на немецкий язык Шлегелем и другими; нам это дается труднее, — говорит Бернард Шоу, доставая редкое издание величайшего драматурга. — Язык Шекспира нуждается в переводе на современный, — англичане его не понимают.

Я рассматриваю нарядное издание «Фрейи семи островов» Джозефа Конрада. Шоу говорит:

— Талантливый славянин. Единственный недостаток Конрада — его чересчур правильный английский язык.

Джозеф Конрад, как известно, научился английскому языку семнадцатилетним юношей. Шоу спрашивает меня, читала ли я Лоуренса.

— Прочтите, — говорит он. — Этот несчастный человек покинул Англию, как некогда Шелли и Байрон. Тупомозглые англичане нашли его непристойным. Это их конек, как всех тех, кто действительно бредит непристойностью, но только шепотом.

Отойдя от книжных шкафов, я осматриваю выполненные с большим художественным вкусом пейзажи.

На одной из стен у двери гостиной висит прекрасно нарисованная смеющаяся обезьяна.

— Наш предок, — говорю я, разглядывая рисунок.

— А может быть, наоборот — обезьяну породил человек, — смеется Шоу.

Я спросила его, как он относится к ультра-модернистским, совершенно невразумительным произведениям в искусстве и к их производителям. Прищурившись и тряхнув золотисто-седыми пушистыми волосами, Шоу указал на голову гориллы и ответил задорно:

— Они пишут для обезьян.

Разговор коснулся того, над чем работает Шоу.

— Пишу пьесу «Слишком правда, чтобы быть хорошей».

Госпожа Шоу добавляет:

— Английская поговорка: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», но мистер Шоу переставил слова, изменив суть.

— Я пришел к выводу, — говорит Шоу, когда кто-то из гостей чихнул, — что мы напрасно оговорили бациллы. Почему не представить себе, что не они, а мы, люди, заразили их гриппом.

За столом писателю и его жене подают совершенно различную еду: Бернард Шоу с двадцатипятилетнего возраста вегетарианец, в то время как Шарлотта Шоу — любительница мясных блюд.

Они сидят на противоположных концах стола, добродушные, нежно заботящиеся друг о друге, и каждый шутя расхваливает свой режим питания.

— Я ненавижу кровь и убийство, я не ем даже яиц — эти зачатки жизни, — говорит

Бернард Шоу, с аппетитом поглощая саговый пудинг. — И вот мне семьдесят четыре года, я работоспособен и силен физически.

— А я ем каждый день бифштекс и тоже не могу пожаловаться на недомогание, — парирует миссис Шоу, с удовольствием отрезая кусок жареного мяса.

После завтрака Бернард Шоу говорит о своем огромном преклонении перед Советской Россией и Лениным.

— Ленин величайший ум и сердце этого столетия, — говорит он, и его голубоватые глаза становятся особенно добрыми и задумчивыми. — Я обязательно приеду в Россию, это решено. — И уже шутя добавляет: — По правде сказать, меня смущают ваши нравы: русские бодрствуют ночью, в то время как я уже почти пятьдесят лет не ложусь спать позднее десяти с половиной часов.

Через несколько дней я получаю от миссис Шоу приглашение приехать к ним на week-end (конец недели) в их загородный дом.

Было редкое для Англии светлое небо, и, по-весеннему чистая, зеленела трава вдоль пре-красного шоссе.

Англия — страна полутонов. Ее небо, светло-оливковое в ясные ночи, ржавое в непогоду, днем окрашивается, как вода пролива, в блекло-серые, матово-голубые и розовые цвета. Как и Япония, на полотне Англия лучше всего воспроизводится акварелью и пастелью.

Ирландия — «страна картофельной шкурки», как говорят о ней сами жители, — богаче

Англии природой и красками: она не лишена таяния снегов, полноводья рек, отчаянной пляски весенних, умирающих с засухой ручьев. Но зима там угрюма и одутловатое небо сурово затянуто подолгу тучами, о которые бьется колючий ветер с моря.

Ирландия дала миру трех великих писателей, самобытность которых осталась во времени неизменной: Джонатана Свифта, Оскара Уайльда и Бернарда Шоу.

Все эти бунтари, чье непревзойденное остроумие дивило и пугало англичан, гордились своей маленькой родиной, отстаивавшей независимость в неравных боях. «Я ирландец», — говорил каждый из них с гордостью.

Ирландия — страна песен, сказок, красноречия и мужества. Как гулливеры среди лилипутов, томились они в Англии, пронзая острым словом и мыслью лицемерие и тупость буржуа.

Оскар Уайльд писал: «Мать с детства приучила меня к открытым окнам, к свежему воздуху, и всю жизнь я томился от духоты тех домов, в которых приходилось мне бывать и жить».

Духота моральная душила Свифта и Шоу, и они рвались к ветру, к свежести морской бури.

Мы подъехали к скромному загородному коттеджу Бернарда Шоу. Широкий простор полей успокаивал и смягчал серые, оббитые плющом стены дома.

Служанка проводила нас наверх по деревянной лестнице в чистенькую комнату, где всюду была заметна гостеприимная забота.

Стояли свежие тюльпаны в вазочках, и на ночной тумбочке лежала книга под подсвечником. Это был роман Лоуренса.

В открытые настезь окна с зелеными жалюзи врвался с ветром запах лугов, зацветающих кустов и первых цветов.

Безлюдно и тихо вокруг. Несколько часов гости остаются в чужом доме одни. Велика мудрость такого приема: гости не мешают отрегулированному течению дня, не вносят уютительной сутолоки. Они включаются в распорядок быта хозяев, оставаясь приятными и желанными.

К семи часам (час обеда) спускаюсь я вниз по коричневой лесенке и вхожу в столовую. Только теперь вижу я хозяев, мистера и миссис Шоу и их старых близких друзей: Беатриссу и Сиднея Вебб.

Сразу окунувшись в доброжелательное гостеприимство, я с интересом приглядываюсь к четверем замечательным людям, усевшимся за стол. Бернард Шоу и его жена Шарлотта сидели, как всегда, на двух противоположных концах стола. Между ними, обнаружив отличный аппетит, разместились супруги Вебб. Беатрисса Вебб — высокая, худая старушка за семьдесят, с очень острыми чертами лица и умными глазами. Нос, рот, подбородок, щеки и даже глаза треугольной формы, как и седой пучок на макушке. Однако ничего отталкивающего, злого не было в ее лице. Наоборот, она привлекала необычайной живостью движений, голоса и, особенно, колким умом. Сидней Вебб,

ровесник Бернарда Шоу, был полнейшей противоположностью жены: значительно ниже ее ростом, тучный и весь какой-то почти женственно мягкий. Его черты лица могли бы быть обозначены только окружностью. Круглые глаза, нос, подбородок, живот, спина. Округлость жеста. Он больше молчал, добродушно поглядывая на всех из-под круглых стекол пенсне. Как и Бернард Шоу, Веббы были в прошлом создателями фабианского общества. Одну из книг Веббов (они писали всегда вместе) перевел Владимир Ильич Ленин.

За обедом у Шоу зашла речь о гениальном переводчике книги Веббов, и Шоу задумчиво сказал:

— Я бесконечно жалею, что не знал лично Ленина. Народ, имевший Толстого и Ленина, не может быть посредственным.

Когда подали кофе, женщины перешли в другую комнату, а мужчины остались, согласно английскому обычаю, одни. Нельзя было не восхищаться миссис Вебб и Шарлоттой Шоу, так полны жизни и молодости оставались их интеллект, их интересы.

Разговор переходил с парламентских дебатов на новые книги и театральные постановки, с политических событий на предстоящее путешествие Шоу в Европу и СССР.

Позднее шумно растворилась дверь, и в комнату ворвались довольные и сытые на вид собаки, а за ними, широко раскидывая худые ноги, легко вошел высокий Шоу и, как-то переваливаясь, маленький Сидней Вебб.

Прожаживаясь по комнате, Бернард Шоу поправлял большой рукой непослушные пряди серебристо-розовых волос. Иногда, слегка сутулясь, он прислонялся спиной к камину, согревая узкую спину, но потом снова начинал ходить, поддразнивая то старого друга Вебба, то жену, уютно устроившуюся в глубоком кресле.

Мистер Сидней Вебб взял на руки круглого, уштанного и низенького, как он сам, пса Санди, которого привез тоже в гости к Шоу, и стал ласково — нос к носу — разговаривать с ним:

— Ну как же нам ехать в Россию без тебя, старина? Как объяснить тебе, что мы вернемся, чтоб ты ел и не зачах. . .

Пес в ответ замахал хвостом и приблизился вплотную мордой к лицу хозяина. Все засмеялись — так велико было сходство между шотландским терьером Санди и его хозяином.

— Кто сказал, что человек тиран собаки, — наоборот, собака — тиран человека, — пошутил Бернард Шоу.

За окном стало совершенно темно, и Беатрисса Вебб зажгла свечи в канделябрах. Огонь в камине разгорелся. Миссис Вебб говорила об опасности империализма в Японии и ее возможном нападении не только на Китай, но и на Австралию. Господин Вебб расспрашивал о кооперации в СССР. Собаки Веббов и Шоу дремали на ковре.

Шарлотта Шоу подошла к роялю и тихонько наигрывала фугу Баха.

— Есть ли у вас актрисы, подобные Эллен Терри или Дузе? — спросил Шоу.

Он был доволен, что в СССР знали его пьесы и ставили в эту пору «Ученика дьявола».

Несколько дней, проведенных в обществе супругов Шоу и Вебб, навсегда уничтожили во мне страх старости. Нет старости для людей с живой душой и разумом, людей, вбирающих жизнь всеми пятью чувствами. Старым можно быть и в молодости, но можно прожить долгую жизнь, так и не познав ее. Мозг, мысль имеют счастливую способность, обрастая опытом, закаляться и крепнуть с годами, и мудрость приходит поздно. Человек часто умирает раньше, нежели исчерпал все свои духовные и умственные силы. И если молодость — стихия страстей и эмоций, то старость — стихия мысли, творчества, разума.

Толстой написал «Воскресение», когда ему было за семьдесят. Гёте в восемьдесят лет орлиным оком мысли обзирал мир. Карл Маркс и Энгельс никогда не знали умственной старости.

Мысль, взлетающая в мировое пространство, пробивающая века, не может стареть, она приобретает вечный блеск.

Каждый день Бернард Шоу, встававший очень рано, работал в своем кабинете до часу дня. Затем, после завтрака и недолгого отдыха, хозяева и гости отправлялись на прогулку пешком по окрестностям. Не служил помехой и дождь. Жители острова привыкли к нему, как

эскимос к снегу и бедуин к знойной пустыне, песчаному бурану и солнцу.

Быстрее всех шагал Бернард Шоу. За ним обычно поспешала Беатрисса Вебб, а позади, за Шарлоттой, отдуваясь, с неизменным Санди сбоку, шел Сидней Вебб. Так гуляли несколько часов, проходя не менее 6—8 миль.

В утренние часы, когда все обитатели дома работали, наступала совершеннейшая тишина. Все менялось только после пяти часов, когда к чаю приезжали соседи или семья Шоу, забрав своих гостей, отправлялась куда-нибудь по пригласению.

Вечера проходили в чтении вслух или импровизированных концертах.

Интересы Бернарда Шоу были самыми разнообразными: прения в парламенте, очередные стычки у лейбористов и фабианцев, события на всей планете, новости мировой драматургии, выставки графики, музыка, современная и классическая — все это интересовало его. Но особенно зорко следил он за делами родной Ирландии. Он с восхищением говорил о доблести своего народа и высмеивал англичан.

— Ирландцы, как и советские люди, — сказал он однажды, — не переносят никакого чужеземного ига, они храбры и сбросят его ценой жизни, если надо.

Как-то в начале 1932 года, приехав в Лондон из Москвы, я послала Бернарду Шоу письменный настольный прибор работы превосходных палехских мастеров. Прошел месяц, два и

больше, а в ответ на подарок я не получила от Шоу ни одной строчки. Меня беспокоило предположение, что вещь не понравилась писателю. Наконец мы встретились в театре на премьере пьесы Шоу «Слишком правда, чтобы быть хорошей».

Не выдержав, я спросила Бернарда Шоу, понравились ли ему миниатюры палешан на письменном приборе.

— Спросите у миссис Шоу, — сухо ответил писатель. — Ни одна вещь не принадлежит мне, если она также не принадлежит миссис Шоу.

Я вспыхнула, поняв, что допустила бестактность, послав подарок лично Бернарду Шоу, не упомянув или не адресовав его прямо миссис Шоу. Пришлось извиняться.

Осенью того же 1932 года Общество англо-советской дружбы давало большой бал. Миссис Шоу была больна, и Бернард Шоу приехал один.

Мы сидели рядом, и, как всегда, Шоу подетски громко смеялся, неуклюже поправляя падающие на лоб волосы, и шутил по поводу нескромных больших вырезов на платьях проходивших мимо нас женщин:

— В годы моей молодости, когда женщины носили наглухо закрытые платья, носок туфельки, прорешка в перчатке вызывали в нас, мужчинах, гораздо больше эмоций, чем любая обнаженная спина красавицы на этом балу. Современная мода лишает наше воображение какой бы то ни было пищи.

Согласившись, я спросила Бернарда Шоу, много ли он странствовал по свету.

— Нет, — ответил мне Бернард Шоу. — Я всегда испытываю разочарование, так как мои представления о том, что я увижу, значительно интереснее, чем действительность. Но я надеюсь, что в вашей стране я найду нечто совершенно новое.

Действительно Бернард Шоу с женой собирались отправиться в Советский Союз.

К концу вечера Бернард Шоу стал уставать. Я не раз видела, как утомление смиряло его. В десять часов он встал, прощаясь.

— Чтобы жить долго, надо думать об этом смолоду, — снова пошутил он, отправляясь домой.

В последнюю нашу встречу Бернард Шоу говорил о том, как близки ему идеи и цели Советского Союза.

— В конце концов самое дорогое и редкое — это счастливые люди. Я друг Советского Союза, потому что его цели, цели Ленина — счастье наибольшего числа людей на этой несчастливой планете.

Не знаю, известно ли было ему, что он повторяет слова юного Карла Маркса, писавшего в сочинении на аттестат зрелости: «Опыт считает самым счастливым того, кто сделал счастливым наибольшее число людей».



„**В**еликие души подобны горным вершинам, — писал Роллан, — на них обрушиваются вихри и их обволакивают тучи, но дышится тем легче и привольнее. Свежий и прозрачный воздух очищает сердце от всякой скверны, а когда рассеиваются тучи, с высоты открываются безграничные дали и видишь все человечество».

Человек доброго ума и чуткости, Роллан стал знаменосцем человеколюбия в мире.

В «Воспоминаниях идеалистки» друг Герцена — старушка Мейзенбург — писала о юном еще Роллане как об одном из самых благородных людей, каких она встречала за долгую свою жизнь.

«Поглядим же вслед за всеми, что боролись в одиночку или разбросанные по всем странам, во всех веках, Уничтожим преграды времени.

Воскресим племя героев...» — призывал Роллан.

Среди величайших гениев земли Роллан особенно говорит о Ленине.

«Мысль Ленина, чистая и острая, как меч», рассекла сомнения Роллана, открыла после долгих лет исканий и мук новые пути, по которым он шел до конца жизни.

Вера в гений Ленина и его учение привели писателя в 1935 году в Советский Союз.

Он остановился у давнишнего друга своего Алексея Максимовича Горького в загородной усадьбе.

Шел проливной дождь, когда мы, человек сорок писателей, на нескольких автомобилях отъехали от Москвы. Роллан знал наши произведения по переводам на французский язык и звал к себе.

Ехали долго. Шины завязли в размытом дождем суглинке, едва автомобили свернули с Можайского шоссе на проселочную дорогу. Пришлось идти по промокшей земле. Холодный ветер пронизывал, одежда намочка. Мы устали и роптали на дорожные неудачи...

Наконец подъехали к большому дому бывшей усадьбы купца Морозова. В светлом холле было тепло и уютно, особенно по контрасту с ветром и дождем все еще не усмирившейся непогоды. Мы с удовольствием раскрывали для просушки дождевые зонты, когда появился доктор и шепотом заявил, что Роллан болен, уложен в постель после тяжелого сердечного недо-

могания. Нас попросили пройти в столовую обогреться, попить чаю и возвращаться во дворец.

Мы подчинились, не пытаюсь, впрочем, скрыть глубокого разочарования. Но вдруг на площадке лестницы, соединявшей холл с верхним этажом дома, раздались голоса и шум. Тихий, но властный мужской голос настойчиво повторял по-французски: — Я обязательно приму их, они так долго ехали, так устали ради этой встречи. Это невозможно — отпустить их сейчас.

Голос жены писателя Марии Павловны прозвучал тихо: — Роллан, ты болен, тебе вредно.

Врачи настойчиво и сердито гудели, пытаюсь вернуть в постель больного.

Однако Роллан победил, и мы увидели его спускающимся вниз по лестнице. Темный плед прикрывал его плечи, падал вдоль длинного, согбенного, крайне исхудалого тела.

Он шел неуверенно, чуть покачиваясь, держась крепко за перила лестницы.

Чем ближе он подходил, тем тоньше, бескровнее казалось его узкое лицо, слабее его хилое тело. Усиливалось впечатление немощной плоти и приковывавшей беспредельной силы духа, струящейся из глубоко ушедших под надбровные дуги покрасневших глаз.

Вслед за Ролланом и его маленькой, гладко зачесанной, фарфорово-бледной, похожей на инокиню женой мы вошли в длинную сумрачную столовую и расселись за столом.

Роллана усадили в большое кресло; плед был брошен на его плечи и ноги.

Подвижной, розовощекий, бодрый Кашен, любимец парижских предместий и Французской коммунистической партии, весело и громко приветствуя нас, прошел по комнате и уселся в стороне.

Роллан ласково улыбнулся большим умным ртом. Он казался изможденным аскетом, пропитательным мудрецом. Его движения были изящны и четки, как у врожденного артиста. Я смотрела на его руки, руки музыканта, с худыми, гибкими пальцами. Они двигались, точно извлекая звуки из всего, к чему прикасались, даже из воздуха.

Как неподдельно большие люди, он был прост и особенно скромнен. Это тотчас же передавалось каждому из нас. Все почувствовали себя, как у давнишнего друга, и заговорили свободно. Есть люди, которые своим присутствием, взглядом очищают души, поднимают их, пробуждая самые лучшие чувства и стремления.

Таким был Ромен Роллан, полный благожелательности и всепонимания.

Его глаза говорили: «Каков бы ты ни был в своих поступках, я верю и знаю, что ты хорош и можешь быть еще во много раз лучше».

Писатели рассказывали о себе и о своих творческих планах. Роллан внимательно слушал, иногда переспрашивая переводчика и задумываясь.

Мне казалось — и это, очевидно, в какой-то степени так и было, — что каждый из нас под пытливо-доброжелательным взглядом утомленных глаз Роллана открывал в себе лучшее и спешил поделиться этим. Велико моральное воздействие человека на человека. Его очень интересовали и Маркс и Энгельс, о которых я писала. Он сказал мягко:

— Образ Фридриха Энгельса мне понятнее и ближе, нежели великого Карла Маркса, перед которым, однако, я тоже преклоняюсь.

Говоря о себе, своих творческих планах с необычайным воодушевлением, мы позабыли, что перед нами один из чудеснейших писателей века. Никто не спросил его даже, что он пишет. И это не было только эгоизмом каждого из нас, нет. Его подлинный, глубокий интерес, паразитическое умение слушать и внутренне откликаться на мысль и стремления другого заставляли забывать, что перед нами старший, большой брат по профессии. Он скорее ощущался нами как отец, как учитель.

Когда мы кончили, заговорил Ромен Роллан. Голос его казался таким же глуповатым и усталым, как и внимательные карие глаза.

Он слегка задыхался, но дикция оставалась четкой, отработанной. Он говорил, обращаясь к тем, кого называл «дорогими своими товарищами»:

— В ваших книгах я ищу правильного понимания слова «культура», ведь вы основные ее носители в народ, к людям,

Одни понимают под этим словом наличие галстука и зубной щетки. Это неправильно. Другие определяют им возведение домов и метрополитена. Это очень важно, но гигиена и строительство только путь, база, подсобное хозяйство культуры.

Культура — это взаимоотношения людей. Это честность. Это бичевание и искоренение клеветы и лжи, это уничтожение сплетен и невежества, это чистка человеческой души, а не только быта. Это дружба и любовь в самом высоком смысле. И главное — это величие служения идее и людям. Я ищу их в ваших книгах. Вы призваны сделать людей лучшими, достойными высших целей эпохи, добра, мира.

Мне больше не пришлось видеть Роллана, сказавшего полные огромного смысла и значения слова. На всех этапах жизни я вспоминаю их, все глубже понимая.

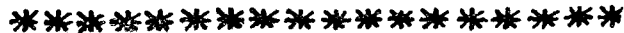
Ромен Роллан говорил с нами в 1935 году. Прошло свыше двадцати лет, и история доказала, что новая, истинная культура и взаимоотношения людей, как это понимал Роллан, возможны только в странах, строящих социализм, где мечта становится действием, претворяется в жизнь.

Вспоминаются слова Писарева, часто повторяемые Владимиром Ильичем: «Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать... если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, ко-

торое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни».

И Роллан, повторяя эту мысль, добавляет: «Надо, чтоб мечта была действием».

Материалы о Ромене Роллане и некоторые его произведения:
<http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref2.htm#RmRI>



В 1923 году, осенью, со студенческой скамьи пришла я работать в Госиздат редактором календарей. Впервые пришлось мне задуматься над тем, как составляется страничка календарного листка.

... Меня окружили авторы календарных строчек, люди особого склада. Старушка в салопе на лисьем меху приносила рецепты засола огурцов, помидоров и грибов. Она говорила меланхолически:

— Вместе со старым миром уходят секреты солений. Скоро некому будет писать об этом.

Дряхлый учитель писал, кто изобрел первую закрытую булавку. Он был чрезвычайно сведущ и знал множество курьезов из области истории и техники.

Тщательно подсчитав строчки крохотных статей, стихов, советов по домоводству, я от-

носила их к редактору Гиза Дмитрию Фурманову. У него было несколько женственное, слегка румяное лицо, обрамленное превосходными вьющимися каштановыми волосами. Большие серые глаза смотрели строго, упрямо поджимались узкие губы. Он всегда носил защитного цвета гимнастерку и в зимнюю пору — большие ворсистые валенки.

Я часто видела, как Дмитрий доставал из портфеля и ставил на стол бутылку молока и круглую булочку, поясняя с грустной улыбкой:

— Вот, видите, воин питается молочком. Природа — хитрая, злая штучка — надсмеялась надо мной. Болен я, отекаю, а жить хочется.

Просмотрев календари, он часто заговаривал о литературе, проявляя большую осведомленность. Он очень любил стихи Блока и хорошо читал их наизусть. Однажды Фурманов признался, что пишет военный роман, — именно так он определил свою книгу «Чапаев».

Как и у многих писателей, когда в них отстает зрелое произведение, у него была потребность говорить об этом. Будущая книга заполнила его, рвалась наружу, требовала словесного выражения, проверки. Фурманов говорил о своих героях, о Чапаеве, а затем, увлекшись, вспоминал империалистическую войну, когда служил солдатом. Он противопоставлял и сравнивал эпохи. 1916 год был в его рас-

сказах особенно мрачен. Развал, предательство, взяточничество и мучения солдат царской армии все еще волновали его.

Мягкий тенор, несколько певучая образная речь делали его рассказы навсегда запоминающимися.

Фурманов был умелый оратор. В этом я убеждалась снова и снова, вслушиваясь в его речи на партийных собраниях. Когда Дмитрий говорил, лицо его бледнело, исчезала женственная мягкость, и крепко сжатый кулак, рассекающий воздух, воскрешал неизменно картины минувших боев, в которых он столько раз геройски сражался.

Однажды, читая календари и морщась над справками о том, как пересыпать нафталином ковры и портьеры, он сказал:

— Хорошо бы издать календарь «Ленин», с хронологическими датами и пояснениями истории пролетарской революции, партии и ее великого учителя.

Фурманов же посоветовал издавать календари бичующей советской сатиры. В них наши лучшие сатирики и юмористы уничтожали безжалостно бюрократов и нэпманов.

Дмитрий умел, как никто, не только рассказывать, но и слушать. Его внимание к рассказчику, неподдельный интерес, замечания тотчас же раскрывали сердца. В Госиздате к нему постоянно приходили со всеми сомнениями, за советом сотрудники и товарищи.

Зная, что четырнадцатилетней девочкой более года провела я на фронте, в Красной Армии, он выспрашивал меня с особым интересом, как развивалось самосознание в этих необычных условиях, как складывалась жизнь.

Однажды он попросил дать ему на прочтение письма периода гражданской войны, сохранявшиеся у меня как священные реликвии. Я передала ему целую пачку писем. Одно из них после смерти Фурманова оказалось изданным в последнем томе его произведений. Оно называется «Письмо смертника». Этот удивительный душевный порыв коммуниста написан и прислан мне двадцатидвухлетним комиссаром одной из бригад 2-й Конной армии — Семеном Унтерслаком, убитым в бою через несколько часов после отправки письма.

Уйдя из Госиздата, я реже встречала Дмитрия Фурманова. В одну из последних встреч он принес мне своего «Чапаева». На заглавном листе красивым, четким почерком автора было написано:

«Галине. Главное:

Зоркость — орла.

Сердце — льва.

Воля — человека».

Великое горе соединяет людей более радости. Я видела плачущего Дмитрия Фурманова в дни, когда человечество потеряло своего лучшего из лучших сынов — Владимира Ильича Ленина. В эти незабываемо тяжелые дни мы

плакали и молчали: слова казались такими маленькими по сравнению с нашей скорбью. Сгорбившийся Фурманов в шинели, с теплым шарфом на шее, краем которого он вытирал глаза, навсегда запечатлелся в моей памяти. Мы стояли ночью у костра на снежной улице Москвы, у Дома союзов, ожидая момента последнего прощания.

Был август 1949 года. Я находилась тогда в Алма-Ате, в одном из красивейших городов Советского Союза, в заключении, в одиночке, без права переписки и ничего не знала о своих детях и матери, не видела людей, только следователя. После десятилетнего заключения и ссылки я была арестована снова.

Камера моя, расположенная под железной крышей, окрашенная в рыжий цвет, не имела окон, и раскаленный знойный воздух поступал в нее через черную трубу под самым потолком. Электрический свет незатухавшей круглые сутки лампочки, казалось, жег мою голову. Время превратилось в пытку. Я была заживо погребенной. Прошло уже тринадцать лет, как судьба швырнула меня в бездну, и я все еще продолжала падать...

Я прикладывала мокрую тряпку то к сердцу, то к вискам и, чтобы забыться, погружалась в далекое прошлое, как в освежающую ванну. Среди людей, которых я вызывала из памяти, чтобы они помогли мне выдержать испытания, был и Борис Горбатов, друг мой с 1933 года. Я понимала, что для всех людей стала прокаженной. Приближение ко мне и мне подобным, несущим на себе политическое проклятье, грозило бедами и преследованиями. Но я знала, что Горбатов верит в мою полную невиновность.

...Он вспоминался мне таким, каким я его часто видела в дни нашей молодости. Коренастый, круглолицый, внешне сильный, он был легко ранимым, вдохновенным, повышенно чувствительным человеком. Его все интересовало: полюса и экватор, сложность внутренней и внешней политики нашего государства, заботы и радости партии, тревожения литературного мира, музыка и живопись, воспитание детей и цветы. Он так любил цветы, что в те годы никогда не приходил ко мне без них.

— Я люблю провинциальную жизнь и охотнее всего поселился бы в городе, где провел детство, — в Бахмуте. Жил бы там в деревянном домике, сидел бы в сумерках на скамейке, под кустами сирени, — говаривал он не раз, и в больших живых глазах его появлялось особенное мечтательное выражение.

Во внутренней тюрьме Алма-Аты я тоже

мечтала о тихом маленьком домике и праве жить при открытой двери и выходить по своей воле в сад.

Последний раз я видела Горбатова, когда он вернулся после долгой зимовки на Крайнем Севере. В уютной московской квартире особенно интересными казались его рассказы о пронизывающей пурге, о трудностях полярной ночи, о людях с разными характерами, очутившихся вместе на маленьком клочке северной земли.

«Да ведь это во много раз интереснее, чем повести Джека Лондона!» — восклицали мы, увлеченные тем, что говорил нам Горбатов.

Однажды, когда я погрузилась в грезы и воспоминания, позабыв о тюрьме, внезапно взвыл засов, и дверь моей камеры отворилась. На пороге стояли корпусной и конвоир.

— Фамилия, имя, отчество?

Я скороговоркой ответила. И, как всегда, почувствовала страшную пустоту в сердце. Затем оно отчаянно забилося.

— Собирайся! — раздраженно сказал корпусной.

Глотнув воды и поправив обветшавшее сатиновое платье (вот уже четвертый месяц я не имела сменного и носила то, в котором меня арестовали), я вышла в коридор. Дневной свет, как всегда в эту пору, мгновенно ослепил меня, звуки жизни оглушили.

На пороге внутренней тюрьмы меня сдали «под расписку» и впустили в дом министерства, где находился следственный отдел. Но в этот раз меня повели по незнакомым ранее коридорам и лестницам. Крайне истощенная от бессонницы и недоедания, я то и дело отводила руки и хваталась за стены и перила.

— Руки назад! — требовал конвоир.

Навстречу нам попадались вольные люди. Они казались мне пришельцами с другой планеты. Меня одурял запах одеколона, пудры и чистого белья, исходивший от них. Мы вошли в большую комнату, где весело смеялись две нарядные, показавшиеся мне красавицами девушки.

Смех. Я позабыла, что он существует на свете. Презрительно скользнув по мне взглядом, секретарша указала на зеркальный шкаф и предложила войти в него. Зеркало отразило мое иссиня-серое, с провалившимися, потухшими глазами лицо.

«Кто это, кто? Я?»

Но дверца раскрылась. Содрогаюсь, я прошла сквозь шкаф и очутилась в начищенном до блеска кабинете со множеством окон и ковровых дорожек. За огромным письменным столом сидел человек в крепдешиновой рубашке цвета сливочного масла. Голова его была гола, как бильярдный шар, лицо злое, с выцветшими светлыми глазами хищной птицы. Он с нескрываемым любопытством, поджав узкие длинные губы, рассматривал меня, как бы наслаждаясь тем, как я была измождена и жалка. Вежливо

он предложил мне сесть и начал допрос. Потом, сощуривав глаза, внезапно сказал:

— Что вы знаете о Борисе Горбатове? Какие у него с вами контрреволюционные дела?

Ошеломленная, я ответила, что ничего о нем не слыхала многие годы, но не сомневаюсь, что Горбатов как был, так и остался преданным партии и советской власти человеком, безупречной честности и чистой души. В тот момент я забыла, что моя похвала могла быть тоже опасной. Что я из касты неприкасаемых.

«Зачем, однако, меня спрашивают о нем? Неужели он арестован?» — мысленно мучалась я.

Все постепенно разъяснилось во время допроса. Борис Горбатов был на пленуме казахского Союза писателей. Зная, что я в то время находилась после отбытия срока в лагерях, на высылке в Семипалатинске, он решил мне помочь. Осталось неизвестным, с кем именно отправил он записку, в которой предлагал мне деньги, спрашивал, как я живу, в чем я нуждаюсь. Записку эту я не получила и ничего о ней не знала. Она была передана в карательные органы, и Горбатова заподозрили в связи с прокаженными.

Я резко и твердо отбила обвинение, которое ему готовилось. А вернувшись в камеру, долго не могла преодолеть волнение и тревогу.

Опасения мои, к счастью, оказались неосновательными. Горбатов избежал каких-либо неприятностей.

Когда я в 1956 году очутилась в Москве и была реабилитирована, когда началась моя вторая жизнь, Бориса не было уже в живых. Так и не пришлось рассказать ему, как много сил влил он в мою душу своим неосмотрительным, смелым и добрым поступком. Он укрепил мою веру в людей, а значит — в справедливость и счастливое будущее.

Воздадим должное памяти одного из замечательнейших сынов советского народа, выдающегося поэта, писателя, публициста, общественного деятеля, безупречного ленинца Сакена Сейфуллина.

Прошло почти двадцать шесть лет со дня его трагической гибели в ежовско-бериевских застенках.

Мы — его друзья, его современники — благодаря великим XX и XXII съездам партии можем говорить открыто о невинных жертвах времен культа, в частности о Сакене Сейфуллине.

Наша литература потеряла в нем одно из чудесных своих украшений. Ничего нет дороже человека на земле, а особенно человека, приносящего пользу людям, работающего, творящего для них,

Мне посчастливилось знать Сакена, считать его своим другом. Наши судьбы роковым образом сплелись в страшные годы. Это стало возможным, так как мой роман «Юность Маркса» вышел на казахском языке под редакцией Сейфуллина. На меня возвели поклеп столь же чудовищный, сколь и вздорный; но, глядя смерти в глаза, стоя у могилы, в своем последнем слове на суде военной коллегии, который вынес ему смертный приговор, Сакен Сейфуллин заявил, что я оклеветана и ничем не погрешила перед советским народом. Каким величием души надо было обладать, чтобы поступить так перед казнью! Я узнала об этом лишь в день восстановления в партии, почти двадцать лет спустя.

Это было в пору первой казахской Декады литературы и искусства в 1936 году в Москве. Из Союза писателей мне позвонил А. Фадеев и сообщил, что у него в кабинете находится редактор казахского перевода моей книги «Юность Маркса» Сакен Сейфуллин. В тот же день мы встретились.

Сакен передал мне напечатанную по-казахски в Алма-Ате мою книгу, ящик пунцовых сладких яблок и приглашение казахского правительства посетить далекий солнечный край. Сакен Сейфуллин, которому было тогда немногим более сорока лет, поразил меня своей мужественной красивой внешностью. Он был очень высок и статен. Смуглое сильное лицо его часто меняло выражение. Особенно запомнились искрящиеся умные черные глаза. Смо-

трел он прямо, честно, смело и походил на олицетворявших отвагу и волю воинов с древнеперсидских фресок.

Не меньше, нежели природной красоты, было в нем и человеческого обаяния. По-русски Сакен говорил даже чересчур грамматически правильно, отлично владел чисто литературными оборотами и часто цитировал многих выдающихся классических и современных поэтов. Несколько раз Сакен упомянул в разговоре великого жизнелюбца Хайяма и поэтического Фирдоуси.

Особенно вдохновенно и любовно рассказывал он мне о многообразии и красоте Казахстана. Незнакомый далекий край впервые понравился мне, когда я слушала пылкий и красочный рассказ Сейфуллина.

Он страстно и самоотверженно любил свою родину и до мельчайших подробностей знал ее историю.

От него я услышала многое об Абае. Сакен не только близко знал свой народ, но и верил в его великое будущее.

Спустя несколько дней после первой встречи Сакен приехал ко мне на подмосковную дачу. И снова он звал меня в Казахстан и с увлечением рассказывал о том, как изменилась эта страна при советской власти.

О себе он говорил очень сдержанно. Это была скромность большого человека. Я уже знала, что передо мной один из самых замечательных людей Казахстана, основоположник

казахской советской литературы, храбрый борец и коммунист.

Я сказала ему, что горжусь тем, что именно он редактировал книгу «Юность Маркса». Сейфуллин смутился.

— Это могли бы сделать не хуже меня и другие, — возразил он. — Вы не знаете, как даровит наш народ, как богат он талантами во всех областях искусства и науки.

Сакен Сейфуллин назвал мне нескольких писателей, на которых возлагал большие надежды. Я услышала от него о Сабите Муканове, которого он назвал своим другом.

Из короткого рассказа Сакена Сейфуллина о себе в эту вторую и последнюю нашу встречу мне запомнилось, что родился он в нынешней Карагандинской области и с детства полюбил напевные стихи акынов.

— Одиннадцатилетним мальчиком услышал я в тысяча девятьсот пятом году речи русских революционеров. Я тогда плохо знал русский язык, и только переводчики донесли до меня смысл их слов. И однако же я был потрясен и запомнил их навсегда, — говорил Сакен.

В 1916 году он окончил учительскую семинарию и стал учителем. Но тотчас же после революции принялся за организацию Советов депутатов трудящихся и был избран комиссаром народного образования в Акмолинске, теперешнем Целинограде. Так, связав жизнь с большевиками, Сакен стал борцом.

В мае 1918 года Сакен Сейфуллин был

арестован отрядом белого атамана Анненкова. Но и закованный в кандалы, Сакен продолжал писать стихи. В январе, в сорокаградусные морозы, под конвоем анненковцы погнали Сакена и его товарищей в Петропавловск. Там они были помещены в «вагон смерти» и отправлены в Омск. Но Сакен выдержал пытки, и палачи ничего не добились.

Я уже знала от Фадеева, что стихи Сакен писал с ранней юности и был широко известен на родине.

С первых дней Октябрьской революции он посвятил ей свою лиру. Сейфуллин был не только талантливый писатель, но и человек большой души, честного сердца, настоящий ленинец. В 1937 году он был безвинно осужден и трагически погиб.

Есть люди и встречи, которые не исчезают из нашей памяти никогда. Не раз за истекшие два с половиной десятилетия я вспоминала наши беседы с Сакеном Сейфуллиным в летние душевные дни 1936 года.

Позже мне довелось прожить в Казахстане два года в ссылке. Я ближе узнала этот замечательный богатый край, имела возможность познакомиться со многими казахами и поняла, как прав был Сакен, веря в большое будущее своих соотечественников и своей страны.

Когда в 1956 году ранним утром я выходила из маленького саманного домика в Джамбуле, городе, где столько раз бывал и Сакен Сейфуллин, и любовалась порозовевшими от

солнечных лучей вершинами гор и бескрайними фруктовыми садами в цвету, я снова вспоминала нежные и вдохновенные строки стихов Сакена Сейфуллина, которые он читал мне когда-то в Москве.

И нигде в мире не видела я ничего столь прекрасного и величественного, как горы Ала-Тау.

Все в Казахстане грандиозно, необъятно и богато: плодородные земли и тучные стада, неисчерпаемые недра, бурные многоводные реки, поражающие красотой горы и, главное, люди, целеустремленные и щедро одаренные природой.

В Сакене Сейфуллине я видела как бы частичку Казахстана и поняла, что он был плоть от плоти своего народа и своей страны, один из лучших ее сынов.

Имена и значимость для советской литературы многих безвинно погибших литераторов все еще не получили полной объективной оценки. То же происходило и с Сакеном Сейфуллиным. Были и есть еще, к несчастью, попытки приуменьшить его роль, талант, заслуги перед советским обществом как несомненного зачинателя молодой советской литературы Казахстана.

Пытались, даже наперекор истории и безусловным фактам, доказывать, что Сакен не является родоначальником этой славной ветви всего нашего многонационального искусства. Я не забыла тридцатые годы и являюсь живым свидетелем обратного.

Мы глубоко чтим выдающийся творческий дар тех крупных писателей, которые жили и творили рядом с Сейфуллиным, знаем, что именно он, Сакен Сейфуллин, открыл собой первую страницу истории советской казахской литературы.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ



Бывают талантливые люди, которые, как цветы, красивы, броски, чарующи. А у иных клад их дарования, точно алмазы, прячется глубоко, и нет в их внешности притягательной силы.

Когда я впервые повстречала Павла Васильева на квартире своеобразного и вдумчивого критика Елены Усневич, поэт мне не понравился. Не потому, что он был нехорош собой. Наоборот. Тогда с зоркостью, присущей первому впечатлению, заметила я и гармонично правильные, юношески чистые, строгие черты его лица, и темно-серые, слегка запавшие, яркие глаза с неожиданно озорным, жестким, недоверчивым и недобрым выражением. Так смотрят на мир беспризорные дети.

«Не легко, видно, дается ему жизнь, мается, плурует, сердчает!» — подумала я, вспомнив

рассказни о прошлом молодого сибирского поэта, с первых шагов в Москве приковавшего к себе внимание. О Васильеве много болтали в ту пору. Слышала я, что рос он в Омске, в семье педагога, скитался, был матросом, хулиганил, пил, участвовал в какой-то сече, не все понял в нашей революции. Знала, что недавно вышел из-под следствия и в заключении, как Орфей под землей, пел стихи, пленив судей.

С виду чем-то неуловимым походил Васильев на Есенина и очень дорожил этим сходством. Но еще больше разнился он от великого рязанского самородка. В Есенине, каким я его знала, сохранялась почти детская непосредственность, и удаль его была не злой, а грусть — чистой, волнующей.

В Васильеве под тонкой оболочкой бурлили различные страсти, было нечто трагическое в его проказах и вспышках. Трудный это был человек и для себя самого, и для окружающих, как, впрочем, все недюжинные люди. Груз таланта не всегда легок, он немислим без тяжелого труда, упорных поисков, неизбежных разочарований, ошибочных увлечений, способности печалиться и радоваться и, главное, никогда не знать покоя. . .

В первый вечер нашего знакомства Павел Васильев почти не участвовал в общей беседе, а если вставлял слово, то задиристое, вызывающее. Но вот он начал читать свои стихи. И будто распались стены дома и ворвалась с гиком и песней былинная стихийная могучая

матушка Русь. Промчались сибирские казаки, легла под копытами коней рожь, упало и поднялось пылающее солнце. Павел Васильев перевоплотился. Холодные шальные глаза его потеплели, волчий огонек в них погас.

Как всегда, когда человек соприкасается с настоящим талантом, с высоким, подлинным, а не мнимым искусством, он как бы сбрасывает с себя груз мелких чувств и суеты. Лица слушателей осветились вдохновенной мыслью, радостью. Редко упивалась и я столь превосходными строфами: шолоховского масштаба и самобытности был перед нами чудодей!

Васильев, худощавый, стройный, казался нам одним из тех, кто в далекой древности, в Элладе, заставил поверить в божественное происхождение поэзии. Напевность его стиха, сочность, новизна словесных оборотов, красочность пейзажей, буйная богатая эмоциональная сила полонили всех. Стало понятно, почему Горький прозрел в Васильеве большого и своеобразного поэта.

«Однако, — тревожилась я, — станет ли Васильев нашим единомышленником до конца, подымет ли до самых высоких идей эпохи, не сорвется ли? Нет, это человек сильный».

В душе поэта явственно боролись противоречивые устремления. Он болезненно искал в жизни и творчестве своих особых дорог, истины, не зная, однако, сам, какова же она, эта его жар-птица.

Но был он предельно честен в каждом слове, вырывающемся из сердца. Да и как могло

быть иначе? Подлинно одаренный писатель и поэт никогда не лжет. Талант и правдивость неотделимы. Притворство и лицемерие мстят за себя. Они убивают душу творчества.

В начале тридцатых годов Павел Васильев нередко бывал у меня дома. Держался он почти всегда ершисто, но за этой грубостью я вскоре усмотрела своего рода «защитную функцию». Поэт склонен был видеть в людях желание унижить его. Павел был очень вспыльчив и горд, но отнюдь не самонадеян. Он, как Байрон, то считал себя гением, то бездарностью и мучился этим, стремясь к все большему мастерству и не успокаиваясь. С нескрываемой жадностью вглядывался он в каждого внутренне интересного человека, рвался к знаниям. Напряженно морща переносицу, сводя русые брови, слушал споры о судьбах советской литературы, о текущем дне страны. Он читал самые разнообразные книги и как-то сказал, что любит превыше других писателей за русский язык Лескова и за сюжеты — Джека Лондона. От встречи к встрече мне казалось, что Васильев обретает внутреннее равновесие и смягчает сердце.

В последний раз, после довольно долгого перерыва, судьба свела нас с Васильевым на небольшом литературном вечере, устроенном редактором газеты «Известия», старым большевиком и добрым другом писателей Иваном Михайловичем Гронским. Эти часы навсегда запали мне в память. Тогда же я снова встретила Валериана Владимировича Куйбышева. Никогда

не казался мне этот прекрасный человек более веселым, бодрым, полным сил и важных планов.

Подведя Васильева и меня к висевшей на стене картине какого-то известного мариниста, Куйбышев предложил нам найти сравнение для облитого закатными красками моря. Павел Васильев заметил, смеясь, что покрасневшие пестрые волюны несутся, как хоровод девушек в цветастых платьях на сибирской ярмарке. Куйбышев прищурил большие глаза, взглянул на картину и медленно сказал:

— А мне видится самотканый переливчатый шелк, из которого в Средней Азии шьются халаты и одеяла.

— Викторину затеяли? — спросил Гронский, подходя к нам и приглашая к ужину.

Но прежде чем пойти к столу, Куйбышев, дружески положив руку на плечо Васильева, попросил его прочесть стихи. Особенностью поэта было то, что он всегда читал их, не заставляя себя просить. И в этот раз он тотчас же начал несколько суховатым негромким голосом свою песню:

В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега.

На косых путях мороза
Ни огня, ни дыму нет,
Только там, где шла береза,
Остывает тонкий след.

Шла береза льда напиться,
Гнула белое плечо.
У тебя ж огонь еще:
В темном золоте светлица,
Синий свет в сенях толпится,
Дышат шубы горячо.

Я взглянула на Куйбышева. Стихи его захватили, как музыка. Васильев прочел еще не одно свое произведение и, по просьбе Валериана Владимировича, закончил «Повествованием о реке Кульдже»:

Мы никогда не состаримся, никогда,
Мы молоды, как один.
О, как весела, молода вода,
Толпящаяся у плотин!

Мы никогда
Не состаримся,
Никогда —
Мы молоды до седин.
Над этой страной,
Над зарею встань
И взглядом пересекни
Песчаный шелк — дорогую ткань.
Сколько веков седел Тянь-Шань
И сколько веков пески?

— Хорошо! Лучше не напишешь! — тихо, с чувством сказал Валериан Владимирович, когда Васильев смолк. — Вот она, подлинно эпическая сила. Очень хорошо.

Павел Васильев обратился ко мне:

— Ну как, Галина, помните наши схватки? Кажется, ваша взяла? Нравятся ли вам мои стихи?

Ответ был¹ в моем рукопожатии.

Нам, четверым, как-то не хотелось идти в соседнюю огромную комнату, где за столами шумели, пели, шутили собравшиеся писатели, артисты, редакторы. И никто из нас не предчувствовал тогда своего печального будущего.

Валериан Владимирович Куйбышев вскоре внезапно умер: Павел Васильев в 1937 году был безвинно арестован и расстрелян; Гронский и я оказались в тяжёлом многолетнем заключении, но дожили до счастливых дней полной реабилитации и восстановления в партии. Лишь в 1957 году я узнала о гибели одного из самых даровитых советских поэтов.

Павел Васильев прожил всего двадцать шесть лет.



Есенина привел к нам в дом в 1925 году наш частый гость, талантливый критик и редактор «Красной нови» Александр Воронский. В первый миг знакомства я усомнилась: неужели же это Есенин, которого в ранней юности я видела, зайдя как-то в кафе поэтов на Тверской? Он был тогда красив, как олеографический Иван-царевич, надевший цилиндр, с волосами цвета ржаного поля и глазами как голубые вьюны. С той поры прошло всего пять лет, но как изменился Сергей Есенин. Поэт, пришедший к нам в квартиру, расположенную в задах «Метрополя», тогда еще 2-го Дома Советов, был совсем другим человеком, крайне изможденный, с лицом испитым, землистым, без возраста. Особенно тягостное впечатление произвела на меня его тощая шея, которую он пытался прикрыть белым кашне.

Нарядный, иноземный костюм только подчеркивал его чрезмерную худобу. Воронский как-то некстати заговорил о том, что у Есенина подзревают горловую чахотку, и шепнул мне о белой горячке.

Часам к девяти собралось у нас много гостей, и Есенин обратился ко мне сиплым, сорванным голосом с просьбой прочесть его стихи.

— Я уже не могу, — хрипло добавил он.

И Воронский, печально скривив большие добрые губы, мрачно и значительно пояснил всем, что это, видно, из-за болезни гортани. Чувство жалости к Есенину нарастало во мне, и, желая доставить ему удовольствие, я прочла несколько его стихов, хотя была декламатором неважным и подражала самому Есенину, которого слышала однажды.

За ужином Есенин выпил немного, но сразу же сильно охмелел. Из молчаливого и подавленного человека он превратился в ухарски развеселого парня. Даже помолодел. Кто-то начал петь «Шумит ночной Марсель», ходовую песню тех лет, и Есенин принялся изображать апаша в «Притоне трех бродяг». Моя мать села за рояль, а поэт, нахлобучив кепку на голову и обернув шею кашне, начал танцевать. Мы были поражены тем, с каким искусством изобразил он парижского гамэна. Есенин был очень музыкален, и танец его, вдохновенный, ритмичный, видится мне и сейчас. Поэт предстал перед нами как богато одаренный мим и актер. Он заворожил всех.

Потом мы слушали его рассказы о недавней поездке в Америку с Айседорой Дункан. С каким патристическим пылом говорил он о том, сколь отвратительным показался ему Новый Свет. Он отдавал должное комфорту, который вошел в быт зажиточного американца, с горечью отмечал, что русская деревня все еще убога и даже иногда жалка по сравнению с фермерскими поселками за океаном, но духовная культура мелкого и крупного буржуа вызывала в нем омерзение. Он бежал прочь от бизнесменов, их запросов и дикости на родину, которую любил до боли. В этот вечер Есенин показался мне умным, сложным, надломленным и душевно неустроенным.

Несомненно, уже тогда большие мысли о самоубийстве, о неизбежной скорой смерти терзали его. Несколько раз он повторил в разговоре:

— Сколько еще мне осталось ходить по этой беспокойной взбаламученной земле?

Долго не могла я отделаться от ощущения, что встретилась со страдающим, запутавшимся человеком.

Виделись мы еще раза два. Ничего примечательного он не говорил, зябко покашливал. А когда я узнала о его смерти, вспомнила и не могла отринуть мысль об очень истощенной шее сдвигающимся кадыком. Я пришла в Дом печати к его гробу. Он лежал раскрашенный. Его заgrimировали, и синие щеки были нарумянены.

Нехорошо было придумано, что его дети, сын и дочь, поочередно читали над гробом стихи отца. Очевидно, из доброго чувства Мейерхольд, их отчим, придумал этот спектакль, но вышло наигранно, тягостно. Несколькими годами позже я прочла, что трагически погибла также и Айседора Дункан, вторая жена Есенина. Ее удушила шаль, запутавшаяся в колесе автомобиля. Я вспомнила тогда, что в гробу поэта лежала телеграмма, в которой она выражала свою печаль.

Прославленную балерину-босоножку я видела на сцене Большого театра в пору ее любви к Есенину. Уже тогда это была тучная, немолодая женщина. Мне не понравился ее танец. Раздражали пыльные голые широкие пятки и раскачивающаяся большая грудь. Но когда в тридцатых годах я прочла книгу воспоминаний Дункан, она предстала иной, незаурядной, много переудавшей и перечувствовавшей женщиной. Однако Есенин не владел английским языком, а его жена русским. Как эти люди узнавали мысли друг друга? Что их свело?

Мне рассказывал Воронский, что Есенин был по-детски тщеславен. Он говорил:

— А что, если я женюсь на дочери Шалапина? Как это будет звучать — Шалапина, Есенин.

Еще не видев свою будущую жену, Софью Андреевну, он повторял:

— Толстая, внучка Льва Николаевича, и Есенин. Это отлично!

Мои воспоминания о Есенине всегда печальны потому, что я повстречала поэта в самые последние месяцы его жизни. Несомненно, каждому самоубийству предшествует чудовищная душевная агония, более страшная, чем телесная. Мне довелось познакомиться с великим поэтом, когда он, тяжело больной, мучительно терзался мыслями о смерти. Он нес в себе трагедию.

ИЗ
РАЗНЫХ ЛЕТ

Даты. Их можно назвать драгоценными фетишами времени. Они не оставляют нас равнодушными, становятся частью жизни не только отдельных людей, но и всего народа, а то и человечества.

Помню 7 ноября 1919 года. С него, уже по собственной памяти, веду я год за годом счет праздникам революции. Справляли мы вторую годовщину Октября в 13-й армии, в селе Паточная Тульской губернии. То были годы тяжелых испытаний. Белогвардейцы приближались к Москве.

— Товарищи, — говорил, взобравшись на поскрипывающий лабазный ящик, молодой красноармеец, — не только с русской, но и с мировой буржуазией воюем мы. Не плошайте, будьте начеку! Мы боремся за великие идеалы нашей партии.

Незадолго до того я была принята в партию. Трудности? Мы были готовы преодолеть их. Мы были готовы на любые жертвы — только бы отстоять советскую власть.

До осенней, холодной полуночи праздновало село годовщину Октября. В овчинном полушубке и тяжелых сапогах, на рыночной площади, побеленной первым снегом, отплясывали мы «Русскую». Потом восторженно пели наши любимые песни: «Смело, товарищи, в ногу», «Мы — кузнецы, и дух наш молод».

... Помню, как позднее выходила я с демонстрантами на Красную площадь. Вздрагивало сердце, когда удавалось, приподнявшись на носки, разглядеть на деревянной трибуне Ленина, Фрунзе, Дзержинского...

Праздники революции! Ничто не может в истории сравниться с ними. Они изумляли очевидцев и в годы славной борьбы за свободу и права человека во Франции в 1789-м и позднее — в дни Парижской коммуны. Их величие и красота ошеломляют и в наши дни в Советской стране.

В конце двадцатых годов мы собрались 7 ноября на праздничный вечер на квартире Мейерхольда в доме на Арбате. Пришел туда и Анатолий Васильевич Луначарский. Провозглашая тост, он заговорил об исключительном размахе и яркости наших праздников.

— Ни в античной Элладе, ни в древнем Риме, на века прославившихся своими внушительными шествиями, ни в пору блистательного Ренессанса не видел мир зрелища прекраснее,

нежели вдохновенный, воспевающий жизнь праздник освобожденного народа. Пролетариату суждено создать настоящую красоту, небывалые образцы искусства и научить человечество подлинному ликованию и веселью.

... Как порой ни была горька моя судьба в последующие годы, праздники смягчали печаль и несли надежду и веру в конечное счастье и неизбежную справедливость.

В воспоминаниях о них не раз черпала я волю к жизни, радость бытия. Это моя сокровищница.

Мне довелось быть свидетельницей рождения советской литературы, читать в первых изданиях многие замечательные книги, вошедшие в золотой фонд нашего искусства.

Мое поколение в начале двадцатых годов зачитывалось «Башней» Гастева и «Красной звездой» Богданова, учило наизусть «Левый марш» Маяковского, когда впервые он зазвучал в Москве. Мы пылко спорили о «Цементе» Gladкова. Помню день, когда Дмитрий Фурманов принес мне только что опубликованного «Чапаева». Мы восхитились «Тихим Доном». Он стал нашей гордостью. Нам нравились талантливые рассказы Ивана Катаева, стихийный лад в книгах Артема Веселого, проникновенность «Барсуков» Леонова, волнующий «Бронепоезд» Вс. Иванова и партийный темперамент «Разгрома» Фадеева. Песней прозвучали для нас стихи Павло Тычины, Ильи Сельвинского, Асеева, Сакена Сейфуллина. У Алексея Толстого учились мы великолепному русскому

языку, а у великого Горького — всем тайнам мастерства.

Советская литература громко заявила о себе на весь мир. Часто номера журналов «Красная новь», «Октябрь» становились событием, о котором говорили на собраниях, в толпе, в семье.

Я познакомилась с писательницей Лидией Сейфуллиной именно в Октябрьские праздники в Ленинграде.

К Лидии Сейфуллиной я пришла после демонстрации, как благодарная читательница, не смея считать себя в ту пору ее товарищем по цеху. На моем творческом счету значилось только несколько очерков, напечатанных в «Комсомольской правде» и «Гудке».

За праздничным столом сидели гости. Муж Сейфуллиной писатель Правдухин, яростный охотник и рыболов, весело выхвалялся своими трофеями, лежавшими тут же. Дикие утки в жирном соусе среди подрумяненных печеных яблок и печальный голубоватый заяц, приготовленные умелым кулинаром, красноречиво подтверждали, что Правдухин не попусту скитался по лесу и болотам.

Мне очень понравилось лицо Сейфуллиной. Точь-в-точь такое я запомнила на одном из полотен Гогена, воспроизводившего таитянских женщин. Круглые большие глаза, глаза мулатки, у писательницы были лучисто яркими и сохраняли всегда пылкое и тревожное выражение. Сейфуллина оказалась страстным рассказчиком и, как многие писатели, в беседе искала, нахо-

дила, проверяла мысли, которые потом должны были появиться вновь в еще вынашиваемом произведении. Многие из того, что говорила мне тогда Лидия Николаевна, я прочла позднее в «Виринее». В сумеречный час, который французы и поляки прозвали «между волком и собакой», Сейфуллина пошла проводить меня до гостиницы, где я остановилась.

Праздник Октября сиял вокруг нас огнями иллюминаций, шумел музыкой и песнями. Мы смешались с радостной толпой, двигались, держась за руки, отдались вихрю народного ликования.

Не раз виделась я затем с Лидией Николаевной, но никогда уже так беззаботно и весело не шло для нас время.

Радуюсь я тому, что именно в моей семье прочли вскоре после окончания свои произведения Бабель и Багрицкий. То была пьеса «Закат» и поэма «Дума про Опанаса».

Часто встает передо мной живой Маяковский. Я помню его в редакции «Комсомольской правды». Сидя на краю стола в кабинете главного редактора газеты Тараса Кострова, одареннейшего и образованнейшего человека, Маяковский говорил, что намеревается написать поэму о «Капитале» Карла Маркса. Он называл это гениальное творение весьма поэтическим и увлекательным. Мне довелось наблюдать за Маяковским перед его выступлением в рабочем клубе. Молча мерил он широкими шагами кулисы, круто поворачиваясь на каблучках. Он волновался. Меня глубоко поразило,

что великий поэт, известный своей задиристой смелостью и волей, полон беспокойства перед встречей с читателями, которые не скрывали нетерпения, ожидая его выхода. Это высокое чувство ответственности я встречала у многих советских художников разных поколений.

В дни праздников всегда вспоминается хорошее, посылаемое нам жизнью. А есть ли что-либо лучше, нежели человек, работающий для других людей, творящий для них! Народ и партия ценят творцов в области искусства. Ленин писал: «Талант это редкость. Его нужно систематически и осторожно поддерживать».

Да, позади у моего поколения длинный свиток воспоминаний.

В самом начале двадцатых годов, сразу после гражданской войны, я приехала с фронта в Москву и поступила на рабфак при МГУ. Учились мы на лестничной площадке. Каменное здание на Моховой не отапливалось, и холод был такой, что учащиеся не снимали ветхих пальтишек и кожаных курток.

Но как горячи были наши сердца! Мы хотели все узнать и понять. Особенно влекло нас искусство. В театрах озябшими руками мы аплодировали «Чайке», на концертах впивали звуки симфоний Бетховена и Чайковского, в музеях жарко спорили о передвижниках и Врубеле, скульптурах великих русских ваятелей и знакомом нам по копиям «Мыслителе» Родена. В бывшем особняке купца Щукина в Музее западной живописи мы учились понимать Ренуара и Мане, любовались полотнами Дега и Го-

гена, удивлялись Ван-Гоггу, а в доме Морозова на Кропоткинской рассматривали творения Пикассо.

Совсем недавно я услышала от одного самоуверенного юноши пренебрежительное утверждение, что поколение, выроставшее в двадцатых годах, понятия не имело об импрессионистах, о химерах собора Парижской богородицы и уж конечно о Пикассо. Я ответила ему смехом и рассказала о страстных диспутах, происходивших в Политехническом музее, в актовом зале МГУ, в здании московского театра «Эрмитаж». Там выступали выдающиеся знатоки живописи, театра, музыки и литературы — Луначарский, Коллонтай, Покровский и многие другие.

Уже в те годы, когда в скверах Москвы футуристы выставили свои смехотворные, грубо размалеванные «скульптуры», народ с отвращением отверг эту попытку поругания прекрасного. Помню на Тверском бульваре сооружение, состоявшее из нескольких нагроможденных друг на друга ящиков и шаров, заканчивавшихся треугольником и деревянной гармоникой. Дававший объяснение «скульптор» назвал свое творенье «Мать с ребенком». Я видела, как прохожие останавливались, слушали «деятеля искусства» и в сердцах плевались.

Позднее мне пришлось бывать за границей. В Париже я посещала традиционные весенние и осенние салоны живописи и скульптуры. Там наряду с полными творческой мысли, вдохновения и новаторства произведениями таких,

например, художников, как Утрилло, были выставлены и рассчитанные на сенсацию, а то и просто на скандал полотна.

Помню холст с приклеенными пучками женских волос и горлышком разбитой бутылки. Название картины было «Ню» («Обнаженная»). Публика, проходя мимо, улюлюкала, громко возмущалась этим брошенным ей оскорблением, требовала, чтобы картину убрали. То был не единственный экспонат, вызывавший негодование. На постаментах стояли откровенно порнографические изваяния, рассчитанные на одобрение пресыщенных снобов и невежд.

— В этом есть нечто, понятное только немногим. До этого надо эстетически подняться, — мычали скудоумные «ценители», самодовольно подчеркивая свое превосходство над другими и принадлежность к самым передовым эстетам.

Иные посетители салонов, подчиняясь стадному чувству, поддакивали им.

В наши дни покровителями абстракционистов, особенно в Америке, являются архимиллионеры Рокфеллеры, Гарриманы, Уитни и другие. Они организуют музеи, поощряют и скупают полотна и скульптуры, содержание и форма которых лишены какого-либо смысла.

В 1965 году мне стукнет шестьдесят лет. Я родилась в тот знаменательный день, когда в Москве началась всеобщая политическая забастовка. В моем родном Киеве тоже было не-

спокойно, и отца, в час, когда я увидела свет, арестовали за распространение социал-демократических листовок.

Жизнь большинства моих сверстников, родившихся в России, в чьих метриках помечен 1905 год, сложилась необыкновенно и часто могла бы послужить канвой для увлекательных литературных произведений. Мы помним, пусть не совсем четко, Октябрьскую революцию и уже ясно все последующие великие даты истории нашего народа. Мы видели и слышали людей, имена которых звучат как легенда.

Мне посчастливилось праздновать 1 января 1925 года в рабочем клубе, куда приехали Фрунзе, Лихачев и многие другие товарищи. Мы веселились до позднего в эту пору года расцвета, перепели хором все знакомые песни от «Ермака» до «Смело, товарищи, в ногу» и плясали подлинно до упаду. Михаил Васильевич Фрунзе за ужином читал с большим умением сатирические басни Демьяна Бедного и шутил с мальчишеским задором. Он был еще совсем молод, румян и казался очень здоровым. А жить ему оставалось менее года. . .

Редко можно было встретить человека, более располагающего к доверию, простого, душевного, требовательного и строгого к себе и другим, нежели Иван Алексеевич Лихачев, в то время видный профсоюзный деятель и руководитель автостроения. Черты его лица — сильный рот, чуть вздернутый, что называется «русский» нос, умные глаза с добродушно-лукавым при-

шуром — напоминали лицо Кирова, на которого он походил также неумоимо деятельным характером и широтой натуры.

Одинаковый свет идей и времени озарял их. Это были закаленные в многолетних различных битвах опытные бойцы и командиры партии, выученики Ленина, плоть от плоти народа, лучшие из его сынов. Труд всегда был их радостью.

В этот памятный вечер Лихачев подарил нескольким товарищам замысловатые зажигалки, смастеренные им в часы досуга. Он поднял тост за процветание нашей промышленности и предрек, что скоро многие из присутствующих смогут ездить на превосходных советских автомобилях.

Был среди нас и зачинатель советского радиопроизводства Александр Васильевич Шотман, член партии с 1899 года. Шотман был страстно, фанатически увлечен своим делом. На встречу Нового года он привез новый радиоаппарат и долго возился с антенной. И несмотря на то что на вечере опыт с радиовещательным ящиком, похожим на старинный граммофон, провалился и, кроме шипа и хрипа, мы ничего не услышали, произнес заразительно убежденную речь, в которой заявлял, что пройдет совсем мало времени и наши радиоаппараты превзойдут качеством знаменитые итальянские. Впервые тогда услышали мы о нарождающемся телевидении, но не смогли себе даже представить, что это такое.

Прошло с тех пор четыре десятилетия. Финн

по национальности, близко знавший Ленина, Александр Шотман был расстрелян в годы культа и сейчас посмертно реабилитирован, умер и замечательный большевик Лихачев. Но страна наша росла и растет на удивление всему миру. Стали явью самые дерзновенные наши мечтания. Вера в советский народ, в то, что наша социалистическая система даст небывалые в истории возможности для бурного развития, оправдалась.

...**М**ать. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг — материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках, исповедующие противоречивые религии, воспитанные под

давлением несхожих культур, опаленные солнцем и едва согретые им на Крайнем Севере, — все они сестры в едином, беспокойном порыве чувства. Одинаковы, когда подносят ребенка к груди, белой, желтой, черной или коричневой. Одно и то же томящее радостное чувство испытывают они, склоняясь над своим детенышем, где бы он ни находился: в колыбельке из тростника, пальмовых плетенках, в мешке из тюленьей шкуры или сложной коляске-домике на рессорах. Сердце их говорит на едином языке мира, и каждый, если в нем есть хоть атом челове-

ности, скажет: «Лучшая мать — моя мать», ибо нет предела ее нежности, кто бы она ни была, где бы ни жила, ни росла, какая бы кровь ни двигала ее сердце.

Мать. С годами слово это ширится, но как часто значимость его постигается тогда, когда уже некого им звать. В детстве мы, как маленькие кенгуру, счастливы, забираясь в невидимую сумку под сердцем матери. Потом начинается отрыв. Наступает время становления личности. Природа зовет к материнству. Дробятся поколения, а когда мы сами воспитываем своих детей, приходит просветление и, увы, следом позднее раскаяние.

Мать. Несчастен тот, кого не согревает воспоминание о ее руках и голосе, и по отношению к матери можно определить величие сердца. В мире есть женщины, позорящие достоинство человека, но в мире нет плохих матерей. Их не больше, чем уродов в огромной массе нормальных людей. Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, как чахоточная палочка под чистым могущественным лучом солнца.

Моя мать родилась в восьмидесятых годах прошлого века, в пору действенной тоски по великим социальным преобразованиям. Острые шпильки костелов, сумрачный, разрушающийся, но все еще могучий замок, узкие улочки и ржавые дворянские и цеховые гербы на оградах и вывесках воскрешали в родном городе матери

былое величие феодальной Польши времен от-
важных королей Ягелло.

Средневековый Люблин с трудом приспособился к определенному времени. Быт его домов был патриархален, тих, но за внешним благообразием часто скрывалась лужь. Семья богача заводчика, чванная, пресыщенная, не была исключением. Страстью деда, умершего задолго до моего рождения, были женщины. Болезненный, предрасположенный к чахотке, он сгорал от ненасытной жажды все новых и новых плотских утех. Изменяя жене, он не пощадил и свояченицу. Сестры стали соперницами.

Бронка, меньшая дочь, любимица отца, рано поняла, отчего плачет мать, отчего молоденькую тетку поспешно выдали замуж. Переброды кухни и людской не миновали девочки. Но вскоре школа оттеснила влияние семьи. В казенной гимназии, куда она поступила, стремились сымалла чтивших польскую культуру заставить отречься от нее. Родной язык беспощадно изгонялся. Муштровавшие учениц классные дамы преследовали всякое проявление любви и преданности к чему-нибудь польскому. И ласкающие стихи Словацкого, бунтарские строки Мицкевича читались вполголоса в укромных уголках либо нарочито громко, как вызов.

Воля к свободе, протест, сознание прав личности крепили в гимназистках, и они грезили о счастье, равенстве и величии родины. Несмотря на запрет, они говорили между собой по-поль-

ски и с гордостью выслушивали за это выговоры.

Моя мать, выраставшая в довольстве и роскоши, мечтала в равной мере о любви и страдании, о воздушном замке и тюрьме. Она ненавидела деспотизм, познав его сначала в подавлении национальной свободы.

Иногда отец брал Бронку на фабрику. Табачные листья, огромные, хрустящие, одурманивали. Бронке казалось, что она в тропическом лесу. Как Колумб, впервые увидевший ароматические растения на губах американцев, она начинала шутя жевать пьянящие листья. Ей нравились сигары, коричневые точно пальцы туземцев, сигары, на которые работницы нанизывали золотые бумажные кольца с фабричным клеймом. Она выходила из больших сараев, полных тюками табака, пошатываясь. На платье ее пеплом лежала табачная пыльца. Тайком она закуривала изящную дорогую папироску.

Перед девушкой было много открытых дорог. Она могла выбирать любую. Родители Бронки, люди по тому времени развитые, дали ей хорошее образование. Помимо гимназии она училась игре на рояле. Поездки за границу расширили ее кругозор, научили иноземным языкам. Все лучшие книги мира были к ее услугам.

Обычно в биографии такой девушки неизбежно должен появиться бедный учитель, который принесет ей томик Гегеля, Бакунина, Энгельса или Маркса. Но такого руководителя моя мать не встретила. Случилось иное. Од-

нажды в Варшаве она провела вечер в обществе девушек и юношей, исполненных решимости пожертвовать собой ради счастья человечества. Среди них был Феликс Дзержинский и его будущая жена Софья. И дочь фабриканта, рожденная для того, казалось, чтобы выйти замуж за светского дельца или военного и жить в холе и достатке, выбрала иную долю.

Что могло тревожить ее в социальной неурядице на земле? Какое дело богатой наследнице до смутного нарастающего протеста среди рабочих на фабрике отца? Гуманные чувства справедливости и дерзновение заставили ее смешаться с толпой трудящихся и сменить уют буржуазного дома на тюремную камеру революционерки.

Первую забастовку она вместе с новыми товарищами провела на фабрике своего отца. Девушка с огромной светлой косой, с тонкими руками, знавшими хорошо только клавиши рояля, взобралась на бочку и обратилась с речью к тем самым рабочим, которых с детства она видела как рабов фабрики.

С этого дня жизнь ее завихрилась: аресты, камеры участков, демонстрации, явочные квартиры, прокламации под меховой кофточкой, в пышной муфте — сложная романтика профессионального бунтаря-революционера. К прошлому не было возврата.

Началась борьба не за себя, а за судьбы других людей. Изредка удавалось прильнуть к роялю, к дорогим с детства книгам, урывками учиться на Высших женских курсах. Между

двумя арестами и ссылкой Бронка окончила Варшавскую консерваторию.

В стенах Павияка и Цитадели она ощутила еще глубже извечную тоску человеческой души по правде и счастью.

В толпе таких же мятежных и больших сердец она нашла моего отца. Как и она, он понял, что счастье отдельной личности — в счастье всех обобщенных. Отец был сравнительно обеспечен, учился в университете. Впереди его ждало независимое положение врача, доходные пациенты, собственный дом, выезд, рента, но все это не только не влекло его, но вызывало презрительное негодование.

Отец носил косоворотку и черный плащ, не брил усов и бороды. В облике двадцатилетнего студента легко можно было найти черты борцов за социальную революцию любой из стран мира. Мать любила его. Вместе они дрались на баррикадах в 1905 году.

Удивительное поколение! В каждом веке, на протяжении всей истории человечества, мелькают, как зарницы, такие светлые души. У некоторых это миг цветения: созревая, они отходят в тень и даже иногда предают либо клеймят как заблуждение лучший порыв своего сердца. Но большинство сохраняют свет свой.

Ненависть к царизму, цель — свобода и пролетарская революция — давали этим людям могучие силы. Мать была счастлива. Ни тюрьмы, ни суды, ни изгнание не могли ослабить ее. Это был добровольный, желанный жребий. Минуты слабости — она осуждала их как позор,

тщательно подавляя и скрывая. Отец не простил бы ей трусости. Только музыки, рояля не хватало ей в дни заточения. Отец и мать изучили азбуку глухонемых и переговаривались знаками на свиданиях, когда один из них был в заключении.

По беременности, досрочно, мать была отправлена из Варшавской тюрьмы на Украину. В Киеве родилась я.

Любовь к отцу не дала матери счастья. Кто тут виноват? Разве тот, кто любит, не счастливее того, чье сердце пусто? Наилучшая и редчайшая удача — соединить два чувства в одно и равно сохранить его во времени.

Отец после недолгой привязанности охладел к матери. Ей пришлось постичь унижения равнодушия и измен. Слабая в своем огромном чувстве к нему, она не находила в себе силы однажды порвать. Бесцельная, изнуряющая забота воскресить умершую любовь.

Отец увлекся матерью, когда ему исполнилось всего двадцать лет. Он никогда не лгал. Не любя, он был прям, как тогда, когда любил, и тоже страдал, так как невольно причинял боль. Но как объяснить это оскорбленной, покидаемой женщине, как бы великодушна и умна она ни была? И мать страдала вдвойне от самолюбивой гордости и от безразличия моего отца. Теряя, она погрузилась в любовь, как в реку скорби. Цельная во всем, воспитанная на тургеневских светлых женских образах, она никогда не смогла уже высвободить однажды полюбившее сердце.

Эта женщина много лет отдала революции. В 1919 году она служит в Разведотделе 13-й армии, позднее в Москве — в Разведупре на Лубянке. Феликс Эдмундович Дзержинский и его жена Софья Сигизмундовна стали для нее образцами всего самого лучшего, чистого. Пять лет трудилась моя мать вместе с Софьей Дзержинской в секретариате Польского бюро ЦК.

Вся ее жизнь со дня, когда отец нас навсегда оставил, сосредоточилась на общественной и партийной работе и на любви ко мне и моим детям. Я всегда помню ее скромной, доброжелательной к людям, невероятно щедрой во всем и самоотверженной. Тихо, незаметно отдавала она всю себя людям.

Любовь к отцу мать пронесла через всю свою жизнь. Как-то в Лондоне в 1930 году она спросила меня послать от себя посылку отцу, которую собирала сама. Я удивилась, увидев там женскую вязаную кофточку.

— Это для кого?

— Для его жены, чтобы она не соблазнилась свитером отца и не отобрала его себе.

Это произошло спустя тринадцать лет после их разрыва.

Так же беззаветно и жертвенно, ничего не беря взамен, любила она меня и внучат. Когда ее упрекали в том, что она меня балует, мама отвечала, снисходительно улыбаясь:

— Я делаю это не для Гали, а для себя. Если бы вы знали, как много удовольствия я получаю при этом.

Когда я была исключена из партии, маме предложили отречься от меня.

— Я ее воспитала и отвечаю за нее, как за самое себя, — сказала она. — Мое место возле дочери, которая, я знаю, ни в чем не повинна. Если вы не хотите понять этого сегодня, то неизбежно поймете позднее и устыдитесь.

И мать поехала за мной в ссылку. В глубокой старости жила она там в долгие годы, когда я была в заточении. Жила, чтобы облегчить мою судьбу и вырастить внучек. Она стала душой разрушенного гнезда, работала с рассвета до ночи, стряпала, мыла полы, давала уроки, а в годы войны приютила в своем домике беженцев и всем делилась с ними. Моя мать, Бронислава Сигизмундовна Красуцкая, осталась неистовой советской патриоткой и коммунистом-ленинцем до последнего вздоха.